



**Фонд
общественного
достояния**

№ 2, 2026

Коллектив авторов

**Журнал «Фонд общественного
достояния» № 2, 2026**

«BookBox»

2026

УДК 821.161.1-8
ББК 84(2=411.2)

Коллектив авторов

Журнал «Фонд общественного достояния» № 2, 2026 / Коллектив
авторов — «BookBox», 2026

ISBN 978-5-908037-89-1

Очередной выпуск журнала «Фонд общественного достояния» объединил произведения классиков и современных авторов. В центре внимания человек: его жизнь и смерть, его слабости и надежды, его переживания и откровения, его рассуждения о мироустройстве, природе вещей и Боге. В журнал вошли рассказы, пьесы, сатирические и юмористические зарисовки, философские сказки-притчи, любовная лирика, рассказы-пейзажи и публицистические эссе.

УДК 821.161.1-8
ББК 84(2=411.2)

ISBN 978-5-908037-89-1

© Коллектив авторов, 2026
© BookBox, 2026

Содержание

Лев Биноклев	6
Первоклашки	6
Ольга Богачёва	8
Как тебе не стыдно, человечество?!	8
Игорь Братчиков	11
Конференция	11
Лина Галина	18
Иван Гончаров	21
Лихая болезнь	21
Счастливая ошибка	44
Василий Донской	66
Оратория под северным сиянием	66
Фёдор Достоевский	69
Как опасно предаваться честолюбивым снам	69
I	69
II	70
III	73
IV	75
V	76
VI	78
VII	79
VIII	81
Господин Прохарчин	83
Роман в девяти письмах	100
I	100
II	101
III	101
IV	102
V	103
VI	103
VII	105
VIII	106
IX	106
Ползунков	108
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Фонд общественного достояния

Выпуск № 26 2026

© Издательский дом «BookBox», 2026

Лев Биноклев

Первоклашки

Рассказ

Впереди праздничной процессии, словно на маленьких ножках, наперегонки бежали букеты цветов. Казалось, что они сами стремительно направлялись во двор школы, украшенный флагами и шарами. Следом вприпрыжку спешили первоклашки в новеньких нарядах – именно они и несли в руках букеты цветов!

Среди пёстрого моря лепестков выделялись нежные розы, пушистые хризантемы и, конечно, величавые гладиолусы. Скромные ромашки и задумчивые васильки в школу не пошли, а так и остались стоять в поле. Интересно, а сколько букетов подарят первому учителю, если в классе тридцать учеников и никто из них не потерял цветов по дороге?

Все цифры тоже собрались вместе после летних каникул. Единичка, самая маленькая из них, не успела сменить короткие штанишки на длинные брюки – так сильно торопилась в школу. Сегодня ей выпала честь представлять День знаний – самое 1 (Первое) Сентября. Она гордо смотрела с плакатов и открыток, поздравляя всех с началом учебного года!

Цифра **1 (Один)** красовалась и на табличках первых классов рядом с буквами А и Б. Дети полюбили Единичку за её простоту: ведь прибавлять или вычитать цифру **1 (Один)** легче всего. Вот только видеть Единичку в своём дневнике никто не хочет. Чтобы получить кол, нужно очень постараться – а такое случается крайне редко.

Обычно учителя ставят двойки тем, кто плохо выучил урок и не знает правильного ответа. Но первоклашкам пока не страшны ни двойки, ни колы: оценки детям начнут ставить только со второго класса.

Зато на золотой медали цифра **1 (Один)** выглядит великолепно. Каждый мечтал о такой награде! Серебряная и бронзовая медали за второе и третье место служили лишь слабым утешением тем, кто не стал чемпионом. Всё это ужасно раздражало цифру **0 (Ноль)**.

Оценку **0 (Ноль)** почему-то в дневники не ставили и на медалях её не чеканили. От обиды Нолик надулся и округлился – и стал похож на бублик. Ещё больше его огорчали слова, в которых скрывался обидный смысл: «Ноль без палочки». А ведь стоит лишь поставить Нолик после Единички – и получается двузначное число **10 (Десять)**, которое больше всех однозначных!

Тогда уж говорят: «Попал в десятку», имея в виду мишень в тире. В самом центре – яблочко, жирная точка, окружённая кольцами. Чем шире круг – тем легче в него попасть, но баллов за это дают меньше. А если промазал, то говорят: «Попал в молоко», ведь бумага-то вокруг мишени – белая.

Многие дети познакомились с цифрами ещё в детском саду и даже успели с ними подружиться. В школе первоклашкам нужно быстро научиться считать в пределах десяти. Но пользоваться пальцами тому, кто уже ходит в школу, – несолидно! Тогда на помощь приходят фрукты.

У Миши было пять яблок. Он съел два яблока. Сколько осталось яблок у Миши?

У Маши было четыре красных яблока и три зелёных. Сколько всего яблок было у Маши в корзине?

Решать фруктовые задачи и приятно, и полезно для здоровья! В классах постарше начнут резать яблоки на части и проводить с ними математические действия. Интересно, что получится, если сложить четыре половинки яблока?

А пока, чтобы научиться считать, нужно взять листочек и карандаш. С цифрами легко дружить, если запомнить простые правила. Например, если складываешь два числа, то сначала берёшь большее и прибавляешь к нему меньшее. Тихонько шепчешь первое число и начинаешь отсчитывать столько единиц, сколько нужно прибавить. Чтобы себе помочь, можно использовать карандаш – нужно прикасаться им, словно волшебной палочкой, к цифре, которую прибавляешь. Единичка – один раз дотронуться, двойка – два раза, тройка – три раза. Как только прикоснулся, цифра сама прибавляется, и волшебный карандаш пишет верный ответ. Главное, держать его правильно – должным образом: тремя пальчиками.

Когда наловчишься колдовать при помощи волшебной палочки-карандаша, можно переходить к счёту в уме – уже обойдёмся без яблок. Но и тут есть свои секреты. Например, нужно сложить пять и четыре. Но проще сложить пять плюс пять и потом из десяти вычесть один – и получается девять. Правильный ответ!

Сначала нужно научиться считать без ошибок, а потом – быстро. Когда имеешь дело с цифрами, отвлекаться нельзя: только замечтаешься – и ошибка готова. А зачем портить себе репутацию плохими оценками? Как хорошо быть отличником и приносить домой одни пятёрки! Сегодня ты первоклассник, а завтра – первый в классе. Первый во всём: и в учёбе, и в поведении. Такое счастье даётся не каждому, но стремиться нужно всем – маленькими шажочками подниматься к вершинам знаний, которые пока что скрываются от тебя в заоблачных высях.

Шаг за шагом, класс за классом – и не заметишь, как прозвенит последний звонок. И нынешний первоклассник когда-нибудь поведёт в школу свою внучку или внука – с таким же очаровательным букетом цветов и опять в первый класс.

Ватутинки, ноябрь 2025 года

Ольга Богачёва

Как тебе не стыдно, человечество?!

Философские размышления

Семь лет своей жизни я провела на берегу Каспия в городе Шевченко, ныне Актау. Туда в 1967 году направили моего мужа, военнослужащего, после окончания военного училища. Город строился. Были уже готовы четыре микрорайона жилых пятиэтажек. Наш дом был первым от береговой линии.

Мои соседки по дому ходили на берег Каспия бычков ловить. Многие ловили эту рыбу на закидушки. Я тоже решила попробовать. Закидушки у меня не было. Я решила сделать её сама. Взяла у мужа метра три лески. На один её конец привязала крючок. На пятьдесят сантиметров выше крючка вместо грузила привязала ключ от шифоньера. А чтобы леска не выскользнула из рук, на другой её конец привязала большую пуговицу.

Ловили мы – женщины – бычков на мясо. И вот, положив в пакет кусочек говядины, я пошла на рыбалку. Бычки хорошо клевали. Ловила я их и с пирса, и у камней под скалами. Довольно быстро в моём прозрачном полиэтиленовом пакете уже плескалось более десяти штук. Я решила, что мне на уху хватит. Налила в пакет немного морской воды и пошла домой.

Какую интересную картину в пакете с бычками я наблюдала! Они плавали и били друг друга. Я смотрела на них и думала: кислорода в небольшом количестве воды в пакете на всех не хватит. Кто всех перебьёт, будет дольше жить. И это точно! Так работает инстинкт выживания в животном мире!

А что же мы – люди? Мы же гордимся что мы гомо сапиенс – человеки разумные. Мы – не животные с инстинктами. У нас есть духовность, ум, мораль, человечность, наконец...

Вся история человечества – войны, убийства, захват территорий, материальных ценностей. А ведь могли бы жить без всего этого по-человечески. И наверняка лучше бы жили, чем сейчас живём. Никто не пытался подсчитать, насколько лет назад отбрасывает нашу цивилизацию каждая война своими разрушениями и убийствами.

ВОЙНЫ

За последние пятьдесят лет на нашей планете вспыхнуло более двухсот войн и вооружённых конфликтов.

XX век породил новый тип войн – мировые, в которых участвовали десятки стран и десятки миллионов людей.

САМЫЕ КРОВОПРОЛИТНЫЕ ВОЙНЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:

– войны, которые Наполеон Бонапарт вёл в период с 1799 и по 1815 год с разными государствами Европы, унесли жизни, по меньшей мере, 3,5 миллиона человек. Многие историки увеличивают эту цифру вдвое;

– гражданская война в России (1917–1923), последовавшая за революцией 1917 года, в которой погибло больше народу, чем во всех Наполеоновских войнах: не менее 5,5 миллиона человек, а по более смелым оценкам от 8 до 12 миллионов человек;

– **восстание Ань Лушаня (VIII век нашей эры), Китай.** Гражданская война в Китае в ту пору была под стать стране – грандиозная. Количество жертв потрясает воображение: по самому малому счёту погибло **13 миллионов человек**;

– **Первая мировая война (1914–1918)**, начавшаяся в 1914 году, охватила 38 государств Европы, Азии и Африки. **Погибло** по самой скромной мерке **15 миллионов**;

– **восстание тайпинов (1850–1864) в Китае.** Времена империи Цин. Опиумные войны, дунганское восстание, движение ихэтуаней, Синьхайская революция... И кровопролитнейшее восстание тайпинов, унёсшее жизни по самым скромным подсчётам **20 миллионов человек**;

– **захват Китая маньчжурской династией (1616–1662): 25 миллионов жертв** – это цена создания империи на территории Маньчжурии, то есть нынешнего Северо-Восточного Китая;

– **войны Монгольской империи (XII–XV века).** Монгольской империей историки называют государство, сложившееся в XIII веке в результате завоеваний Чингисхана и его преемников. Территория империи была самой большой в мировой истории и простиралась от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии. **Число жертв – не меньше 30 миллионов.** Пессимисты насчитывают **все 60 миллионов**;

– **Вторая мировая война (1939–1945)** – держит самые страшные рекорды. Она и самая кровопролитная: общее **число её жертв** осторожно оценивается в **40 миллионов**, а неосторожно и **во все 72**. Она и самая разрушительная: общий ущерб всех воюющих стран превзошёл материальные потери от всех предыдущих войн, вместе взятых, и считается равным полутора, а то и двум триллионам долларов. Война шла на земле, в небесах и на море – боевые действия велись на трёх континентах и в водах четырёх океанов. Это был единственный до сей поры конфликт, в котором было применено ядерное оружие.

По данным агентства «Научная Россия».

И сегодня человечество никак не может уверовать в реализацию возможности мира без войн в наступившем XXI столетии. Очевидна тенденция к их увеличению. Эти цифры свидетельствуют о необходимости срочно остановить процесс убийства всего живого и разрушений для спасения населения Земли и её Природы.

Как тебе не стыдно, человечество?! Ты ведь не стая рыб в пакете, где мало воды – мало жизненного пространства. Может, в твоей популяции срабатывает тот же инстинкт, что и у моих рыб в пакете: кто всех перебьёт, будет дольше жить? Но ведь есть и другой путь регулирования количества людей на планете!

Не убивать, не травить, не изобретать вирусы, а повышать уровень жизни всех людей на Земле.

Вспомните экономически благополучные европейские государства! У них ещё более пятидесяти лет назад появилась тенденция вырождения наций. Женщины в условиях высокого уровня жизни не хотели рожать много детей. Они не хотели быть детородными машинами. И, как следствие, сокращение рождаемости и численности населения.

В эти страны хлынули беженцы и переселенцы из экономически неблагополучных стран с низким культурным уровнем.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОПЫ

Среди многих проблем, с которыми сталкивается Европа в начале XXI века, одной из наиболее серьёзных, безусловно, является крайне неблагоприятная демографическая ситуация. Это со всей очевидностью вытекает из динамики численности европейцев и их удельного веса в мировом населении. В 1900 году их общее число составляло 390 млн человек – четверть тогдашнего населения планеты, в 1940 году – 525 млн (23 %), в 1950 году – 549 млн (менее 22 %), в 1975 году – 676 млн (19,6 %), в 2000 году – 728 млн (12 %). На протяжении XX века мировое население выросло вчетверо – с 1,57 млрд человек в 1900 до 6,2 млрд в 2000 году, а Европы – только вдвое. По оценке демографических служб ООН, к 2025 году оно уменьшится не только относительно, но и абсолютно – до 713 млн (9,1 %). К середине XXI века эта тенденция может ещё более усилиться. Согласно прогнозу статистической службы Евросоюза (Евростата), с 1 января 2004 года по 1 января 2025 года население 25 государств – членов ЕС увеличится примерно на 13 млн человек (с 456,8 до 470,1 млн), но рост будет происходить в основном за счёт притока иммигрантов из Азии и Африки. После 2025 года этот фактор уже не будет более компенсировать превышение смертности над рождаемостью: ожидается, что к 2050 году население ЕС составит 499,8 млн человек, то есть на 20 млн меньше, чем четверть века ранее.

По данным «Официального журнала Европейского Союза», № 5(50), май 2005 г.

Согласно этой статистике – я права: чем выше уровень жизни и культуры в социуме, тем меньше рождаемость.

Уважаемые великие умники планеты Земля, лидеры государств, науки и техники, финансисты, все те, кого называют мировым правительством, может быть, для того, чтобы сократить численность населения на нашей самой красивой во всей Вселенной планете ради улучшения её экологического состояния, климата, не надо устраивать войны, производить всё более мощное оружие убийства и разрушения, строить по всему миру секретные лаборатории для разработки бактериологического оружия, а лучше направить политическую волю, усилия, финансовые средства на повышение уровня жизни и культуры всех народов Земли. В этом случае численность людей на Земле будет саморегулироваться благородным образом и сама упадёт до оптимальных размеров. Направьте на эти цели свои умы и миллионы. По крайней мере не надо будет никого убивать, травить, заражать вирусами. Совесть ваша будет чиста и перед людьми, и перед Богом.

Что скажете, мировые правители и простые люди?

Игорь Братчиков

Конференция

Я прилетел в Таллин на всесоюзную конференцию «Электромагнитные расходомеры для ракетной техники». Все участники со всех концов СССР жили в гостинице «Виру». На тот момент это была одна из лучших гостиниц СССР. Отель, расположенный в десяти минутах от центра столицы Эстонии, открылся в 1972 году, в нём пятьсот шестнадцать номеров, двадцать три этажа, плюс прибалтийский западный шик был в наличии – во всяком случае, так тогда казалось. Странно, что лифт ходил только до двадцать второго этажа, мы недоумевали: а что же на двадцать третьем этаже? Нам поясняли, что он технический. И только позже выяснилось, что же там было на самом деле. Но об этом ниже. Конференция шла три дня в закрытом режиме. Выступали многочисленные участники. Я тоже сделал свой доклад. Моя диссертация была написана под грифом «для служебного пользования». На следующее утро все многочисленные участники должны были разлететься в разные концы огромного Советского Союза, а вечером организаторы конференции устроили банкет, но немножко необычный для всех нас. Предупредили: просьба – в 17.00 часов собраться в фойе гостиницы внизу. За нами подойдут машины. Академикам подали «Волги» ГАЗ-24, одну «Чайку» ГАЗ-13 – очень известному академику из Москвы, лауреату всяких премий. Остальным, таким как мы, два венгерских автобуса «Икарус». Мы упаковались в транспорт и тронулись. Таллин не великое поселение, через сорок минут мы выехали за город. Едем – лес, кругом сосны, укутанные в снег. Красиво. Зима, декабрь. Темнело. Остановились у небольшого старинного, очень красивого замка, который удобно устроился на берегу замёрзшего озера. Такого никто не ожидал. Это был сюрприз. Мы все были удивлены, впечатлены. Полные восторга участники конференции, предварительно избавившись от верхней одежды, проследовали в величественный главный зал. Это оказался рыцарский зал с готическими сводами и окнами. Статуи в рыцарских доспехах стояли по углам, на стенах древние гобелены, флаги, геральдические атрибуты, гербы. По всему периметру большого зала были расставлены длинные дубовые столы, не покрытые скатертью. В общем, атмосфера рыцарских времён была воссоздана полностью. Это нас всех, даже закоренелых «ботаников», моментально расслабило и раскрепостило. Улыбки. Смех. Шутки. Дружеские приветствия слышались со всех сторон. Нас обслуживали девочки с приколотыми на груди маленькими табличками с именем и надписью Servis. Мы ещё не знали тогда, что такой элемент униформы называется бейджиком. Девушки с бейджиками разносили напитки и закуски, убирали ненужную посуду. Нас было, наверно, человек сто двадцать; начались речи, тосты, стали выпивать. Шум. Гам. Дым коромыслом. Я с Монеи Шуниным и Мишей Исаковичем, доцентами кафедры «Электротехники» профессора М. Г. Резина Уральского политехнического института, устроились в самом конце стола. Мы не виделись полгода, говорили, говорили и налегали с усердием на горячительное. Так продолжалось часов пять. Ближе к полуночи замечаем, что за столом много красных лиц, но красных не только от выпивки, но и непонятно от чего. Мы тоже не отставали в эстафете наперегонки с зелёным змием, но такого яркого колера на наших лицах не было.

Наконец к нам подошла одна из девушек и сказала:

– Господа, что же вы всё за столом сидите? Вы разве не были в нашей бане?

Мы были ошарашены!

– Нет? Пойдёмте со мной.

Наша маленькая компания, не медля ни секунды, двинулась за доброй феей с ником Лооре на бейджике. Проследовав длинными мрачными подземными коридорами, мы очути-

лись в очень современной, отлично оборудованной сауне, отделанной липой, запах которой улавливали даже наши гружённые алкоголем носоглотки. Скинув, не мешкая, наши одежды и завернувшись в свежие халаты, как в тогу, сунув ноги в шлёпанцы, как в сандалии, и нахлобучив новые войлочные шапки на голову вместо лаврового венка, мы практически как римские цезари направились в парную. По пути прихватили по бутылке бывшего в то время в большом дефиците чешского пива из стоявших тут же, в предбаннике, ящиков. Весьма довольные собой, мы разлеглись на полках на сброшенных с плеч халатах. Релакс. Мы лениво перекидывались фразами, как уставшие от игры дети снежками. Прихлёбывали пиво. Наши обнажённые тела постепенно покрывались бисеринками пота – и вдруг сюрприз! Дверь внезапно открылась, и, как в песне В. Высоцкого, «вовсе не было подвоха или трюка – вошли без стука, почти без звука» три совершенно обнажённые наяды, точнее, это были девушки из сервиса, только, естественно, без бейджиков. Все как на подбор блондинки, стройные и красивые. Мы как могли прикрылись, кто ручонками, кто шапками, но у «наяд» с собой было. Сервис был на уровне.

Предложив нам по полотенцу, молвили:

– Ну что вы, можете прикрыться полотенцами, но у нас здесь свободно, так же как в Германии, где всегда в баню ходят мужчины и женщины вместе – и ничего страшного.

Мы расслабились, распеленались, девушки нас попарили, помассировали. Предупредили – это сервис, но никакого интима. Бросили клич «За нами!» и выпорхнули из бани. Наша тройка, но без бубенцов, в арьергарде. Выбегаем из бани, но уже через другой выход, и оказываемся на тропинке в снегу. Вокруг сугробы. Среди сугробов протоптана дорожка, бежим к замёрзшему озеру. Впереди – окутанные паром три ладненькие, кругленькие, симпатичные попки. Ночь, темень, только звёзды нам подмигивают с небосклона. Красота. Подбегаем. Прорубь. Рядом сидит какой-то мужик в тулупе, с ружьём, в шапке-ушанке, в валенках и с фонарём в руке. Девчонки с визгом попрыгали по одной солдатиком в воду. Выбрались из проруби на лёд. Настала наша очередь. Вначале солдатиком сиганул в холодную чёрную воду худой и долговязый доцент Миша Исакович. Шустро выбрался из воды, клацая зубами. Затем, поджав коленки, плюхнулся в воду, как бегемот, подняв фонтан брызг, грузный и дородный белокожий доцент Моня Шунин. Бултыхался пару минут, отфыркиваясь и смеясь, и с нашей помощью был выужен из проруби на свет божий. Настала моя очередь. Я был шестым на этом празднике жизни и уже начал замерзать. Но я же, Гарик ЗеБра, ещё недавно спортсмен, кандидат в мастера спорта по боксу. Надо было показать класс, выпендриться. (О похождениях Гарика ЗеБры читайте в моей книге «Соблазн».) Передо мной раззявила свою чёрную пасть два на два метра прорубь с холодной водой. Я прыгнул, как прыгают с причала или пирса, рыбкой, то есть нырнул головой вперёд, и, конечно, ушёл под лёд. Когда я вынырнул, то головой ударился о лёд. Я даже вначале не понял ничего. Вокруг чёрная вода, мрак, голова упирается темечком о лёд, и есть только маленькая прослойка – сантиметров, наверно, пять-семь, а может, десять – между водой и льдом, где я мог дышать. Я ощутил покалывание в теле от холодной воды, судорожно хватал ртом воздух, мгновенно стало страшно. Я понял, что не знаю, куда мне плыть и как долго смогу продержаться в воде, которая с каждой секундой уносила тепло из моего тела. Хмель выветрился мгновенно, стало холодно и тревожно. Но сервис, сервис был на высоте. Всё было продумано организаторами до мелочей. Видимо, такие ухари, как я, уже прошли здесь школу молодого бойца. Оказывается, этот мужик с фонарём был не просто мужик – он был спасатель. Я увидел справа в паре метров от меня, что вода освещена, – это был луч фонаря. Этот мужик-спасатель посчитал, что прыгнули по очереди шестеро, а рядом с ним сейчас стояли пятеро – три девушки и два доцента. Одного не было. Он тут же включил и направил фонарь в воду. Матёрый! Я мгновенно сориентировался и в три взмаха оказался опять на поверхности проруби, хватая ртом воздух и стуча зубами то ли от холода, то ли от пережитого ужаса. Мужик-спасатель помог мне выбраться на снег. Фонарь оказался непростой – он был приспособлен для того, чтобы опускать его в воду.

Вот такая канитель.

Наша дружина, не чувствуя холодных ног, в полном составе вернулась в сауну. Мы с остервенением парились. Оделись. Вернулись на место. Народ начал, потихонечку, подниматься из-за стола, фланировать по залу, осматривая этот великолепный замок. Скоро протрубили отбой, мы погрузились в транспорт и вернулись в отель «Виру».

В великолепном настроении, немного уставшие, мы устроились в креслах в баре отеля. Махнули по маленькой на посошок. Мои товарищи рано утром возвращались в родные пенаты. Мы тепло распрощались. Я пообещал в скором времени прилететь к ним в Свердловск, чтобы продолжить эксперименты по созданию нового, более мощного статора для проведения исследований по докторской диссертации, над которой я начал работу. Мой самолёт был только через день. Я держал путь в Ленинград (его ещё не успели к тому времени переименовать в Санкт-Петербург), в гостиницу «Прибалтийская», построенную шведской строительной компанией Skanska по проекту архитектора С. И. Евдокимова. Эту гостиницу мне посоветовала наша дежурная по этажу, Илона. В то время на каждом этаже любого отеля на территории СССР сидела дежурная по этажу, блюла «нравственность и чистоту» общения.

– Гарик, непременно остановитесь в Ленинграде в гостинице «Прибалтийская», что на берегу Финского залива. Это просто прелесть! Со всей страны туда возят персонал для ознакомления с передовыми новшествами гостиничного бизнеса и новыми технологиями. Я только оттуда, – говорила мне Илона.

Я распрощался с доцентами, они пошли спать, а мне стало скучно. Я пересел за стойку бара, заказал джин-тоник. Хмель из меня практически испарился благодаря моему «подлёдному лову» и сауне. Я сидел потягивал коктейль, одним глазом смотрел телевизор, который был подвешен за стойкой в глубине бара (шла трансляция хоккейного матча из Канады), другим глазом смотрел, как ловко бармен, Маттиас, орудует шейкером, готовя мне очередной коктейль. Сна не было ни в одном глазу. Я был перевозбуждён: не каждый день оказываешься под водой, где только полоска воздуха между водой и льдом – это всё, что у тебя остаётся, плюс баня, плюс красивый замок. Я интроверт, возбуждаюсь очень быстро, тяжело возвращаюсь в нормальное состояние. Сейчас я пытался успокоиться, вливая в себя новые порции «успокоительного». Время позднее, других посетителей в заведении не было, и мы разговорились. Видимо, Маттиасу тоже было скучно и одиноко, он мне поведал трагический, практически голливудский случай, прогремевший на всю Эстонию и не только.

– В нашем отеле самое знаменитое варьете в СССР. Считалось, что оно импортировано с «загнивающего» Запада, так как оно не было ни национальным по форме, ни социалистическим по содержанию, а являлось одной из форм диссидентства, – начал бармен своё повествование.

Оказалось, что по образованию он историк, много свободного времени посвятил собственному расследованию этого случая.

– Звездой нашего варьете «Виру» была фантастическая танцовщица Эне Лейус, которую называли эстонской Мэрилин Монро. Эне была звездой варьете. Невообразимой красоты блондинка с голубыми глазами и длинными ногами. Она была по натуре и по происхождению аристократка. Безупречные манеры и культура поведения, но пользовалась своей красотой немножко свободно – имела страсть к драгоценностям и красивой жизни. Эне была окружена многочисленными поклонниками, многие прилетали специально, чтобы посмотреть на её выступления. Приглашали в роскошные рестораны, дарили драгоценности, часто просто за общение и лёгкий флирт. Однажды на шоу оказался знаменитый спортсмен Тоомас Лейус. Он увидел, как она танцевала, её пластику и грацию, то невероятное обаяние, которое она излучала. Известный теннисист безумно влюбился в Эне с первого взгляда и сделал ей предложение практически в первый день знакомства. Тоомаса отговаривали все друзья, товарищи, приятели. Убеждали, что не надо, что она распущенная, легкомысленная красотка, которую

волнуют только бриллианты. Лейус говорил: «Ребята, вы мне просто завидуете». Но было одно препятствие, правда оно его не остановило. Тоомас был женат на красавице Анне Лийс, очень серьёзной и скромной девушке, которую он добивался три года. Воспитывали дочку. Всё же он оставил семью, развёлся с женой, и очень скоропалительно они с Эне сыграли свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие.

Тоомас родился в интеллигентной семье, с ранних лет начал обучаться музыке. В десятилетнем возрасте параллельно занялся теннисом, которым впоследствии стал заниматься профессионально. В 1957 году дебютировал на чемпионате Эстонской ССР. Не будучи физически одарённым, сенсационно вышел в полуфинал. В следующем году стал чемпионом республики. В 1959 году на Уимблдоне в юношеском финале одержал победу над бразильцем Ронни Барнсом, став первым советским победителем Уимблдона. В 1962 году Тоомас выступил на Открытом чемпионате США. В 1964 году стал финалистом турнира в лондонском Королевском клубе. В 1971 году стал финалистом Открытого чемпионата Франции. Всего за всю карьеру выигрывал десять раз чемпионат СССР. В двадцать два года Лейус вошёл в десятку лучших теннисистов мира, он колесил по всем странам, имел многочисленные награды, хорошо зарабатывал и в конце концов был пойман пограничниками на провозе запрещённых препаратов. Позже выяснилось, что это были наркотики.

Поскольку большую часть времени Тоомас проводил на соревнованиях и сборах, подолгу отсутствовал, через несколько лет брака Эне стала ему изменять направо и налево. Познакомилась с известным московским хореографом, композитором, режиссёром Юрием Шерлингом, талантом которого восхищался Илья Глазунов, а Джигарханян называл его бриллиантом. Юрий Шерлинг был богат, успешен и слыл опытным героем-любовником, известным в кругах богемы. Он приехал в Таллин на красной «Волге» с персональным водителем, что было редкостью в те времена, ставить мюзикл «Тощий приз». Его познакомили с Эне за кулисами варьете после очередного шоу. Между ними мгновенно вспыхнула искра. После страстной ночи любви Эне дала Шерлингу прозвище Экзотическая Обезьяна. Шерлинг влюбился и увёз её с собой в Москву. Никакой прелюдии. Только взаимная бешеная страсть. Оба были несвободны, но это их не остановило. Они решили пожениться. У знаменитого московского кутюрье было заказано и сшито изумительной красоты подвенечное платье. Когда задержали Тоомаса, Эне кинулась его выручать, прилетела из Москвы, остановилась в их общем доме и объявила Тоомасу, что подаёт на развод. Им было что делить. За время совместной жизни теннисист дарил ей много денег, бриллиантов, валюты, но говорил, что это всё семейное. Эне требовала половину имущества, у них произошла ссора. Одна. Вторая. Обстановка накалилась. Эне пригрозила: «Если не отдашь, я заявлю, что ты занимаешься контрабандой валюты и наркотиков». В последнюю ночь, накануне расторжения их брака, Тоомас потребовал от жены в последний раз исполнить супружеский долг. Эне ответила отказом, и знаменитый теннисист задушил жену подушкой. На похороны прилетел убитый горем Шерлинг. Когда в могилу опустили гроб с телом красавицы-танцовщицы, Юрий Шерлинг накрыл его белым подвенечным платьем ¹.

Маттиас закончил рассказ около двух ночи. Бар он закрыл в полночь. Два часа мы сидели за столиком для посетителей, потягивая пиво, которое он прихватил, когда закрывал бар. Я поблагодарил Маттиаса за интересный вечер и щедро с ним расплатился. Мы распрощались.

Вот такая канитель.

Ночь набирала обороты. Сна не было и в помине. Я сидел, задумчиво вращая на столе пустую бутылку Tuborg. Разлетающиеся остатки хмельной жидкости образовали окружность в виде капелек на поверхности столика. Я стал водить по брызгам указательным пальцем, замы-

¹ Тоомас Лейус был приговорён к восьми годам лишения свободы, из которых отбыл три. После освобождения покинул Эстонию и начал тренерскую карьеру. В 2009 году вошёл в Зал российской теннисной славы. Умер 7 февраля 2025 года в возрасте восьмидесяти трёх лет.

кая круг. Стало грустно, тоскливо и одиноко. Впервые за долгое время я пожалел, что бросил курить. Подумалось: «Может, это молодость уходит?» Мне недавно стукнуло тридцать четыре. Хотя какой-то умник сказал: молодость не отрезок жизни, а состояние души! И он прав! «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь»² – около меня материализовались две красивые девушки, очень элегантные, прикинутые в фирменные шмотки; я сразу усёк, что эти два «путника в ночи», как поёт Фрэнк Синатра, не наши из Совка девочки. Мне приходилось бывать за границей, у меня были романы, как я уже писал в своей книге «Соблазн», с француженкой и чешкой, был уже опыт такого общения с другими заграничными дамами. По тому, как эти два «путника в ночи» посмотрели с тоской на потушенные огни закрытого бара, я понял, что у них трубы горят – они желают догнаться. В переводе на мягкую пахоту – так любил говорить мой папа – они хотели продолжения банкета.

– Do you want to drink? – начал я не замысловато, уверенный, что мой английский они понимают.

К тому времени я прошёл непростой отбор на эксперта ООН – сдал все экзамены, включая по английскому языку. Последний я сдавал директору департамента Министерства внешней торговли СССР (в 1988 году упразднено) в высотном здании на Смоленской-Сенной площади, дом № 32–34, в котором тогда оно находилось, и Министерстве иностранных дел СССР. Я получил назначение на стажировку в Нью-Йоркский университет на кафедру профессоров Камингса и Свины, но был холост, и меня тормознули.

– Yes! We were in the bar in the city. Then we went for a walk and got cold, – обрадовались иностранки.

Мы разговорились, познакомились и стали общаться на английском языке. Девчонки оказались из Швеции, жили этажом выше меня, двое в одном номере. «Ночные путники» меня пригласили на так называемую session, если конкретно – в шведскую семейку. Нас было трое. По-французски эта ситуация звучит как *l'amour de trios*. Поднялись к ним в номер, по дороге я захватил в своём бутылочку французского коньяка Napoleon, припасённого для презента папе. Тогда этот коньяк считался у нас элитным, труднодоступным даже в Москве, купить его было сложно, а здесь в баре он свободно продавался, цена, правда, была высокая. Пока шли к ним в номер, начали целоваться и обниматься. В отеле есть несколько номеров с чудесным видом на море. Их оказался именно таким. Оформленный в простом стиле номер был обставлен белой мебелью из карельской берёзы. Простенько, уютно и элегантно. Устроились на диванчике перед журнальным столиком. Я разлил по фужерам коньяк, выпили. Закусили апельсином. Выпили ещё и ещё, не переставая целоваться и ласкать друг друга. Их было двое. Им было легче. Я разрывался между Вильмой и Лилли – так звали моих белокурых прелестниц. Апельсин закончился, да и зачем мне апельсин, когда вокруг свежие клубничные плантации. Мы уже почти распеленались, когда клубничные создания, чмокнув меня в обе щёки, упорхнули в ванную комнату, приказав мне сидеть и не двигаться. Их выход из ванной меня ошеломил. Вначале выпорхнула та, что поменьше, Лилли, одетая медсестрой. Из-под коротенького белоснежного халатика выглядывали стройненькие ножки в чулках, обутые в шпильки. Белая шапочка с красным крестом скрыла копну светлых волос. В руке маленький саквояж. Следом шествовала высокая Вильма, в укороченном чёрном мужском смокинге, в чёрных чулках и чёрных лакированных туфлях на высоченных сногшибательных каблуках. Под носом усики а-ля Чарли Чаплин и борода эспаньолка на подбородке. Голову венчал, как корона царицу, чёрный атласный цилиндр. В правой руке хлыст. Сказать, что я онемел, – значит не выразить ту бурю чувств, которая тогда вихрилась в моей голове. Я был в восторге. Это сейчас при наличии интернета этим никого не удивишь! Но тогда! Даже для меня, продвинутого малого, это было в новинку. Веселуха началась! Из медицинского саквояжа Лилли достала различные штуковины:

² Строка из песни «Разговор со счастьем», музыка А. С. Зацепина, слова Л. П. Дербенёва.

наручники, какие-то непонятные пробки из латекса, маски, резиновые дубинки, напоминающие мужские фаллосы. Меня приковали к спинке кровати и устроили для меня шоу. Сна и так у меня не было. Побудку сыграло всё в моём теле! Позже Лилли и Вильма пригласили меня в свою весёлую компанию. Ночь и рассвет прошли бурно и незабываемо. В одиннадцать утра я, выжатый, как в стиральной машине бельё, спустился в свой номер, рухнул, не сняв одежду и башмаков, как подкошенный на кровать и забылся незабываемыми впечатлениями до вечера.

Вот такая канитель.

Поздно вечером я выбрался из своей берлоги с тяжёлой головой, дрожью в коленках, но в хорошем настроении и направился к Илоне, дежурной по этажу. За эти три дня мы с ней подружились, поздними вечерами, ведь я сова, я пил чай у неё за столиком, она меня угощала конфетами. Отель произвёл на меня впечатление, я накупил бальзама «Вана Таллин» (теперь он называется ликёр) в глиняных коричневых, покрытых лаком бутылках, пробка запаяна сургучом с печатью. Одну бутылку для родителей, одну для своего шефа, ректора института профессора А. В. Болотова, парочку просто в подарок. Поскольку рано утром я улётал в Ленинград, я вручил одну из презентационных бутылок Илоне, которая пила кофе. Аромат я почувствовал, ещё идя по коридору.

– Гарик, два дня назад, я вам уже рекомендовала остановиться в «Прибалтийской», вновь предлагаю ехать прямиком в этот отель.

– Илона, но как же я попаду в этот рассадник роскоши, понтов, уюта и красоты? У меня бронь в «Ленинград», что на Пироговской набережной.

– Я заметила ваши таланты, а о ваших похождениях этой ночи говорит уже весь персонал в нашем отеле. И потом, вы прилично одеты, у вас была конференция союзного масштаба – наверно, остались какие-нибудь брошюры, где вы указаны как докладчик. Отель построили к Московской олимпиаде, он ещё не распиарен, гостей там мало. Главное, идите сразу в службу старшего портье.

Илона подготовила меня, как надо разговаривать, с кем общаться. Я ей был очень благодарен. О своих похождениях в «Прибалтийской» я напишу позже.

– Илона, в гостинице «Виру» двадцать три этажа, но на последний уровень попасть невозможно – в чём дело?

– Гарик, это очень деликатный вопрос, но вам я открою тайну, при условии что вы будете хранить молчание, и если что, я вам ничего не говорила. Вы бывали за границей и во многих отелях СССР, повидали многое. Думаю, заметили, что наш отель – это передовое гнездо западного образа жизни на территории СССР, причём разрешение на открытие дала лично министр культуры Екатерина Фурцева. Не просто дала разрешение – это она придумала организовать в гостинице «Виру» варьете, поскольку много иностранцев посещает прибалтийские республики. «Виру» – первое высокое здание в Прибалтике, ещё его называют небоскрёб, хотя в нём всего двадцать три этажа, но это первое высотное здание в Таллине и во всей Прибалтике. Лифты поднимаются только до двадцать второго этажа, где расположены люксы с видом на город и море. И мало кто знает – реально только обслуживающий персонал, – что двадцать третий, технический этаж полностью занимает служба КГБ со своей аппаратурой. Прослушиваются не только шестьдесят номеров гостиницы, где установлены специальные видеокамеры и жучки, но и разговоры на кораблях, которые курсируют из Финляндии в Эстонию. В эти шестьдесят номеров заселяют известных людей, западных бизнесменов, политиков, деятелей культуры и спорта высокого ранга как у нас, в СССР, так и за рубежом. В нашей гостинице останавливались Элизабет Тейлор, Валентина Терешкова. Даже Алексей Николаевич Косыгин, Председатель Совета министров СССР, этот строгий человек, который всегда поддерживал мораль, высокую нравственность, во время посещения республики посмотрел шоу в варьете «Виру».

– Илона, почему в ресторане и кафе такие массивные, а главное, тяжёлые пепельницы? Да и посуда какая-то странная, похожа на серебряную, но не серебро, и тоже удивительно тяжёлая.

– Гарик, я в вас не ошиблась, а говорите, что устроиться в отель «Прибалтийская» для вас проблема. Вы подмечаете любую мелочь. Действительно, почти во всех столовых приборах, сделанных на заказ, вмонтированы жучки для прослушки, даже в телефоны в номерах. Пепельницы сделаны под старину, тоже очень тяжёлые, в них, естественно, также жучки. Гостиница «Виру» полностью прослушивается, просматривается спецнами из КГБ. И конечно, ваша ле мур де труа, которую так живо обсуждает персонал гостиницы, тоже! Утечки есть всегда!

Мы распрощались. В семь тридцать утра мой самолёт взял курс на город Ленина.

Вот такая канитель.

Лина Галина

* * *

Тебя не выбирают – что же, может, грустно
Принять и в выборе чужом не утонуть,
Ведь одиночество – высокое искусство,
В нём главное – себя не обмануть.
Не очень просто вдруг себя заставить
Услышать голос – тот, что изнутри,
Лёд от чужого выбора расплавить
Теплом души, что греет и горит.
И лично для себя найти дорогу,
Себя создать, на это не жалея сил,
Вернуть своё, унять души тревогу,
Сказать: «Ваш выбор ни к чему. Я не просил».

Август 2025 года

* * *

На сцене целый мир, но он не настоящий,
И вместо мыслей текст, и вместо слёз вода,
Тяжёлый занавес блестящий —
За ним придуманная жизнь всегда.
Здесь бриллиантам места нет,
Их блеск не виден с глубины партера,
И всё искусственно, искусства свет,
В луче софита красная портьера.
По золотому краю рампы,
Как по границе двух миров,
Сплетенья судеб, дифирамбы,
Сюжеты, фарс и паузы без слов.
Но есть один венец, который настоящий,
Среди поддельных страз природный бриллиант,
Незримо в воздухе парящий,
Мерило действия под названием Талант.
Он ненавязчив, но всегда заметен,
Как жизни воплощение для всех,
Но лишь при нём одном на свете
Рождаются признание и успех.
Он всё вокруг собою изменяет,
При нём всё ярче, глубже чувства,
И мир придуманный на сцене превращает

В мир настоящий, в храм высокого искусства.

Сентябрь 2025 года

* * *

Слепая любовь не видит объятий
И слёзы не слышит, слова в пустоту,
Не чувствует боли утраты во взгляде,
И глушится крик, как удар, в мерзлоту.
Бессильные руки, опущены плечи,
На них всё держалось, но всё было зря,
Лишь холод внутри, говорят – время лечит,
Погасло в душе, и потерянный взгляд.
Мерцание звёзд мелкий дождь размывает,
До них далеко, не достанешь руками,
Сквозь боль узнаёшь, что такое бывает,
Пьёшь горькую правду большими глотками.
Ты учишься быть для кого-то потерей,
Хоть кажется, будто доходишь до края,
Ты будешь мудрее, ты станешь не верить
И знать, что бывает любовь слепая.

Ноябрь 2025 года

* * *

Я так просила, чтоб меня не предавал,
Ты обещал, что сдержишь слово,
Не изворачивался и не лгал,
Но к правде надо быть готовым.
Прозрачный замок из холодной лжи
Рассыпался в блестящие осколки,
Что ранят, словно острые ножи,
И режут глаз, как тонкие иголки.
Надежда, что в душе живёт,
Умрёт последней, правды ожидая,
Притворная любовь пройдёт,
Фальшивым чувствам слёзы утирая.
А что до веры, с ней куда сложнее,
И если с ней предательство встречается
(Для веры участи не сыщешь тяжелее) —
Она уходит и не возвращается.
Слова лишь звук, поступки некрасивы,
А я хотела верить через край,
И мне казалось, что немного просила —
Будь честным до конца, не предавай.

Ноябрь 2025 года

* * *

Не трогай чужие омуты —
Рискуешь задеть несчастье.
И в мутные воды чужой судьбы
Старайся нырять не часто.
Будь осторожен – не связывайся,
Душевные нити не трать
И попусту не разбрасывайся,
Чтобы потом не страдать.
Без спроса чужую беду
Руками не разводи,
По этому скользкому льду
Как можно реже ходи.
В осколках чужой души
Нарвёшься на острый край,
Поэтому не спеши,
Живое не задевай.
Старайся вступать осторожно
В чужие глубины и опыты
И помни насколько возможно —
Не трогай чужие омуты.

Ноябрь 2025 года

Иван Гончаров

Лихая болезнь

В декабре 1830 года, когда холера находилась ещё в Москве, но уже значительно уменьшилась, из двухсот пятидесяти кур пятьдесят в самом непродолжительном времени лишились жизни.

Учёная брошюра о действиях холеры в Москве, доктора Христиана Лодера; Москва; страница 81

Читали ли вы, милостивые государи, или по крайней мере слышали ли о странной болезни, которую некогда были одержимы дети в Германии и Франции и которой нет названия и другого примера в летописях медицины; именно: в них поселялось какое-то непостижимое стремление идти на гору св. Михаила (кажется, в Нормандии).

Тщетно отчаянные родители старались удержать их: малейшее сопротивление их болезненным желаниям влекло за собою печальные следствия – жизнь детей медленно угасала. Удивительно? не правда ли? – Не будучи знаком с литературою медицины, не следуя за её открытиями и успехами, я не могу сказать вам, объяснён ли этот факт или по крайней мере подтверждено ли его вероятие; но зато с своей стороны сообщу свету о подобной же не менее странной и непостижимой эпидемической болезни, губительных действий которой я был очевидным свидетелем и чуть не жертвою. Предлагая наблюдения мои со всевозможною подробностью, я осмеливаюсь предупредить читателя, что они не подвержены никакому сомнению, хотя, к сожалению, не запечатлены верностью взгляда и учёным изложением, свойственным медику.

Прежде нежели опишу этот недуг со всеми его признаками, долгом поставлю уведомить читателя о тех особах, которые имели несчастье испытать его.

Несколько лет назад я познакомился с добрым, милым, образованным семейством Зуровых и проводил у них почти все зимние вечера. Время неприметно текло среди их самих, среди круга их знакомых, наконец, среди тех удовольствий, которые они избрали и допустили в своём доме. Там, правда, не было карт, и напрасно праздный старик или избалованный бездействием, мучимый головою и душевною пустотою юноша стали бы искать денег и развлечения в этом занятии: надежды их никогда не сошлись бы с благородным образом мыслей Зуровых и их гостей; но зато танцы, музыка, а чаще всего чтение, разговоры о литературе и искусствах поглощали зимние вечера.

С каким удовольствием вспоминаю я эту густую толпу друзей, осаждавшую большой круглый стол, перед которым на турецком диване сживала Мария Александровна, добрая хозяйка, и разливала чай, а сам Алексей Петрович ходил обыкновенно с сигарою и чашкою холодного чая вдоль по комнате, по временам останавливался, вмешивался в разговор и опять ходил. Помню и восьмидесятилетнюю бабушку, разбитую параличом, которая, сидя поодаль в укромном уголке на вольтеровских креслах, с любовью обращала тусклый взор на своё потомство, и солёная слеза мирного счастья мучила глаза её, и без того расположенные к слепоте. Помню, как она поминутно подзывала младшего внука Володю и гладила его по голове, что не всегда нравилось резвому мальчику, и он часто притворялся, будто не слышит её призыва. Сверх всего этого, бабушка была презамечательная особа во многих отношениях; а потому да позволено будет мне сказать ещё несколько слов о ней: она сидела, как было упомянуто выше, постоянно на одном месте и владела только левою рукою: подивитесь же деятельности! умела употребить и единственную свою длань с пользою для общества; следовательно, несмотря на

угасшие силы и едва таившуюся искру в ветхом сосуде жизни, занимала почётное звено в цепи существ. Когда утром внуки и внучки, подняв её с постели, усаживали в кресла, тут она поднимала левою рукою с материнскою заботливостью стору у окна, и боже сохрани, если б кто другой предупредил её! Но только ли ещё? Ужели умолчу о главной её способности, которая дорого покупается бедным человечеством, – увечьем на службе или параличом; бабушка купила последним. Дело в том, что она во всякое время предсказывала погоду и служила как бы домашним живым барометром. Так, ежели Марье Александровне, Алексею Петровичу или кому-нибудь из старших внуков нужно было идти со двора, то предварительно спрашивали её: «Матушка (или бабушка), какова-то погода будет?» – и она, пощупав который-нибудь из онемевших членов, как вдохновенная сивилла, отрывисто отвечала: «Снежно – ясно – оттепель – великий мороз», – смотря по обстоятельствам, и никогда не обманывалась. Не полезно ли иметь такое сокровище в семействе? Помню и старого заслуженного профессора, который, оставив кафедру политической экономии, с большим успехом занимался ещё исследованием разных сортов нюхального табаку и влияния его на богатство народов. Помню, наконец, своё место подле племянницы Зуровых, чувствительной, задумчивой Фёклы, с которой я любил беседовать тишком о разных предметах, например о том, долго ли могут проноситься чулки после штопанья или сколько бы аршин холста потребовалось мне на рубашки и проч., на что она всегда давала ясные и удовлетворительные ответы. Помню, как острые, но не язвительные шутки сыпались со всех сторон и возбуждали дружный хохот; помню... Но простите, милостивые государи и государыни, что не могу привести в ясность и разместить в приличном порядке всех воспоминаний: они смешанной толпой теснятся в мою голову и выжимают оттуда слёзы, которые струятся по щекам и потом орошают сию писчую бумагу. Позвольте обтереть их: иначе не дождётесь моего рассказа...

Ну вот теперь я покойнее и могу снова заняться своим предметом, от которого отворотили меня умиление и сострадание. «Сострадание? – спросите вы, – как? почему? какое?» Да, сострадание, милостивые государи и государыни, глубокое сострадание. Я был привязан к моим знакомым не только душевными, но и сердечными узами, которые хотел укрепить законным образом. Вспомните мой давешний намёк на разговор с Фёклой: это не даром; гм! понимаете? Как же не плакать, как не терзаться, когда подумаю, что всё семейство, начиная с бабушки и до шалуна Володи, погибло, погибло невозвратно жертвою страшной эпидемии, которая, к счастью, удовольствовалась этим, хотя и распространилась было и между знакомыми их, но те впоследствии избегли её. Вот, извольте видеть, как это происходило.

Я вначале упомянул, что проводил у Зуровых зимние вечера, а об летних не сказал ни слова потому, что я летом не жил в Петербурге, а уезжал, по приглашению дяди-старика, к нему в деревню пить с ним, по его настоятельным просьбам, домашние наливки, из которых рябиновка, приготовленная по особенному рецепту, могла, как утверждал он, восстановить порядок в моей нервной системе, а простокваша и варенцы, любимый его полдник, – предохранить от желудочных болей, которым я был тогда подвержен. Как на минеральные воды, целые три лета сряду ездил я в деревню лечиться и взял три таких курса; но на четвёртое небесам угодно было послать два страшные бедствия на ту губернию, где жил дядя: первое – неурожай на ягоды, вследствие чего наливочные бутылки остались пусты и праздно; и второе – скотский падеж, столь сильный, что число трёхсот пятидесяти голов скота сократилось в три, варенцы и простокваша оскудели; дядя мой, видя, что белый счёт мало-помалу теряет свою заманчивость и что любимые его занятия исчезают, с горя также пал вместе с последнею любимую коровою и оставил меня наследником имения. – Остаток лета я употребил на приведение в порядок дел, а к началу зимы возвратился в Петербург. Первый мой визит был, разумеется, к Зуровым. Мне обрадовались. Я нашёл всё по-прежнему, и зима опять застала те же лица в тёплой зале Зуровых, за тем же чайным столом, – меня опять подле Фёклы, Алексея Петровича с сигарою, Марью Александровну, с прежнею любезностью и умом, за нескончаемою от века

работою, вышиванием ковра по канве, начатого ею ещё до замужства. В детях только произошли некоторые перемены: старший сын возмужал, вступил в университет и начал прислушиваться к шороху женского платья, а младший перестал прятать у своего учителя-немца платок с табакеркой и сажать бабушку мимо кресел, да ещё бабушка сама усугубила деятельность и в забывчивости опускала стору середь дня или, отходя ко сну, поднимала её. Впрочем, всё остальное было по-прежнему.

Быстро проходила зима; вечера стали короче; бабушка перестала предсказывать о великом морозе; на языке у ней чаще вертелось слово «оттепель». Настал апрель; солнце пламенным лучом проводило последний зимний день, который, уходя, сделал такую плачевную гримасу, что Нева от смеху треснула и полилась через край, а суровая земля улыбнулась сквозь снег. Ветреная щебетунья ласточка и верхолёт жаворонок уже донесли о наступлении весны. В природе поднялся обычный шум: те, которые умирали или спали, воскресли и проснулись; всё засуетилось, запело, запрыгало, заворчал, заквакало – на небеси горе, и на земли низэ, и в водах, и под землёю. Вот и петербургские жители заметили весну.

В первый тёплый день я весело пустился из дому прямо к Зуровым поздравить их с праздником природы и провести у них целый день.

– Здравствуйте, Алексей Петрович! – сказал я. – Честь имею кланяться, Марья Александровна! поздравляю вас с весной. Нынче очень тепло.

Едва я выговорил эти слова, как – и теперь весь дрожу! – вдруг в целом семействе произошло необыкновенное движение: Алексей Петрович зевнул и значительно взглянул на жену; та отвечала ему болезненной улыбкой; двое младших детей судорожно запрыгали, а старшие захлопали в ладоши; глаза самой бабушки оживились каким-то неестественным блеском, и во всём этом проглядывала дикая радость. Я остановился и посмотрел на них в недоумении.

– Что с вами? – спросил я наконец с робостью, – здоровы ли вы?

– Слава богу, – отвечал Алексей Петрович, сильно зевая.

– Но с вами творится что-то чудное. Не огорчены ли вы чем?

– О нет! напротив, мы радуемся наступлению весны: приходит время начать наши загородные прогулки. Мы любим пользоваться воздухом и большую часть лета проводим за городом.

– Прекрасно! – сказал я, – надеюсь, что вы и мне позволите разделять с вами это удовольствие.

Опять то же движение.

– С радостью, – отвечал Алексей Петрович и бросил на меня дикий взгляд.

Я испугался не на шутку и не знал, что делать и как объяснить себе эту сцену. Я стоял в нерешимости; но чрез минуту всё приняло обыкновенный вид, и приветливость хозяйки вывела меня из затруднительного положения.

– Вы, надеюсь, с нами обедаете сегодня? – спросила она.

– С удовольствием, – отвечал я, – но как теперь ещё рано, то позвольте мне сделать визит в один дом.

– Ступайте! – кричал мне вслед Алексей Петрович, – только непременно приходите, и как вы обещали ездить с нами за город, – тут опять он начал зевать, – то мы условимся, когда и как устроить первую поездку.

«Да ещё теперь далеко до загородных прогулок», – подумал я, но сказать этого не решился, видя, как они горячо принимают к сердцу предстоящее удовольствие.

Вышед от них, я стал доискиваться причины этой непостижимой выходки целого семейства.

«Уж не питают ли они против меня какого-нибудь недовольствия?» – подумал я; но приглашение к обеду и дружеские проводы не соответствовали странной встрече. Что бы это значило? Размышляя таким образом, я наконец вздумал пойти узнать всё от их старого знако-

мого... Да! я забыл сказать, что в числе посетителей дома Зуровых были двое, которых надобно познакомить с читателем покороче, потому что в этом деле они играют важную роль.

Один – Иван Степанович Вереницын, статский советник не у дел, искренний друг Зуровых с самого детства. Он был обыкновенно задумчив и угрюм, редко принимал участие в общем разговоре, сидел всегда поодаль от прочих или молча ходил взад и вперёд по комнате. Многие сердились за его нелюдимость, холодное обращение, а потому и пропустили неблагоприятные слухи на его счёт: одни говорили, что он страдает отвращением к жизни и раз чуть было не утопился, но мужики вытащили его из воды, за что и награждены медалями для ношения на анненской ленте; какая-то старушка уверяла, что он знается с демоном, и вообще все называли его гордецом и бранили за презрение к миру, а иные даже под великим секретом разглашали – есть же такие злые языки! – что он влюблён в женщину сомнительного поведения; одним словом, если поверить всему, что об нём говорили, то надобно было возненавидеть его; если же не верить, то возненавидеть других за чёрную клевету. Я не сделал ни того ни другого и после увидел, что поведение его есть следствие особенного взгляда на мир и тех наблюдений, которые... если бы он захотел, публиковал бы сам, а нам в чужое дело вмешиваться не следует: нам довольно знать, что он всякий день бывал у Зуровых и пользовался их особенною привязанностью.

Другое лицо – мой товарищ по ученью, Никон Устинович Тяжеленко, малороссийский помещик, тоже старый знакомый Зуровых, чрез которого и я познакомился с ними. Этот славился с юных лет беспримерною методическою ленью и геройским равнодушием к суете мирской. Он проводил большую часть жизни лёжа на постели; если же присаживался иногда, то только к обеденному столу; для завтрака и ужина, по его мнению, этого делать не стоило. Он, как я сказал, редко выходил из дому и лежакою жизнью приобрёл все атрибуты ленивца: у него величественно холмилось и процветало нарочито большое брюхо; вообще всё тело падало складками, как у носорога, и образовывало род какой-то натуральной одежды. Он жил у Таврического сада, а пойти туда прогуляться было для него подвигом. Напрасно врачи предсказывали ему неизбежную борьбу с целым легионом болезней и разных сортов смертей: он опровергал возражения самыми простыми и ясными доводами; например, если упрекали его, что он мало ходит и может подвергнуться апоплексическому удару, он отвечал, что у него из передней в спальню ведёт тёмный коридор, по которому он пройдёт по крайней мере раз пять в день, чего, по его мнению, очень, очень достаточно, чтобы предохранить от удара. К этому, в виде заключения, он прибавлял следующее рассуждение, что ежели, дескать, и постигнет его, Тяжеленку, удар, то этот случай даст ему повод и законную причину сидеть безвыходно дома и послужит красноречивою защитой от всяческих нападений, и что тогда уже ему нечего будет опасаться насчёт своего здоровья. Что же касается до воздуха, которым ему советовали пользоваться, то он утверждал, что, просыпаясь утром, он прикладывал лицо к отворенной форточке и насыщался воздухом на целый день. Врачи и друзья пожимали плечами и оставляли его в покое. Таков мой приятель Никон Устинович. Он любил Зуровых и бывал у них раз в месяц, но как это казалось ему выше сил, то он нарочно познакомил меня с ними.

– Ходи к ним почаще, братец, – сказал он мне, – они прекрасные люди, я их страх как люблю; да требуют, чтобы я раз в неделю бывал у них – эка шутка! Так, пожалуйста, ходи ты за меня и сообщай новости им обо мне, а мне об них.

К нему-то я отправился после странности, замеченной мною у Зуровых, в надежде, что он, как старый знакомый зная всё касающееся до них, объяснит и мне. В ту минуту, когда я зашёл к нему, он замыслил о перевороте на левый бок.

– Здравствуй, Никон Устиныч, – сказал я. Он, лёжа, кивнул головой. – Здоров ли? – Он опять кивнул, в знак подтверждения: Никон Устинович даром не любил терять слов. – Зуровы тебе кланяются и пеняют, что ты совсем разлюбил их. – Он потряс головой в знак отрицания. – Да промолви же хоть словечко, мой милый!

– Вот... погоди... дай расходиться, – наконец медленно произнёс он. – Сейчас подадут мой завтрак, так я, пожалуй, и привстану.

Через пять минут человек с трудом дотащил к столу то, что Никон Устинович скромно называл «мой завтрак» и что четверо смело могли бы назвать своим. Часть ростбифа едва уместилась на тарелке; края подноса были унизаны яйцами; далее чашка или, по-моему, чаша шоколада дымилась, как пароход; наконец, бутылка портеру, подобно башне, господствовала над прочим.

– Ну вот теперь я... – начал было Тяжеленко говорить и вместе привставать, но ни то ни другое не удалось ему, и он опять упал на подушку.

– Неужели ты один съедаешь столько?

– Нет, и собаке дам, – отвечал он, указывая на крошечную болонку, которая, вероятно в угождение своему господину, лежала, как и он, постоянно на одном месте.

– Ну, бог тебя суди! Однако, не шутя, – продолжал я, – не пойдёшь ли ты со мной обедать к Зуровым?

– И! что ты! в уме ли? – сказал он и махнул рукой. – Лучше останься со мною: у меня будет славный окорок, осетрина, сибирские пельмени, сосиски, пудинг, индейка и чудесная дробина. Сам, братец, командовал, как приготовить её.

– Нет, спасибо; я дал слово; к тому же у нас нынче за столом будет интересный разговор о приготовлениях к загородным прогулкам.

Вдруг лицо Тяжеленки оживилось; он сделал над собой страшное усилие и – привстал.

– И ты! – И ты! – вскрикнули мы оба в одно время.

– Что значит твоё восклицание? – спросил я.

– А твоё?

– Моё, – отвечал я, – вырвалось от удивления, что давеча с Зуровыми сделались конвульсии, а теперь ты чуть не встал на ноги оттого только, что я заговорил о весне и загородных прогулках. Теперь ты видишь, что я воскликнул не без причины. Ну а ты отчего?

– Моя причина важнее, – отвечал он и поместил в рот кусок ростбифа. – Я думал, что ты болен.

– Болен? Спасибо за участие, но с чего ты взял это?

– Я думал, что... ты заразился.

– Час от часу не легче! От кого? чем?

– От кого! от Зуровых.

– Что за дичь! Объяснись, пожалуйста.

– Погоди, дай... поесть. – И он тихо, медленно, как корова, жевал мясо.

Наконец исчез последний кусочек; всё было съедено и выпито, и человек, принёсший завтрак обеими руками, вынес остатки двумя пальцами. Я подвинулся ближе, и Тяжеленко начал:

– Заметил ли ты в эти три года твоего знакомства с Зуровыми что-нибудь особенное в них?

– До сих пор ничего.

– А поедешь ли летом в деревню?

– Нет, останусь здесь.

– В таком случае, начиная с нынешнего утра, ты будешь каждый день замечать диковинные штуки.

– Да что же это значит? скоро ли я добьюсь от тебя? и если в них скрывалось что-нибудь особенное, отчего ты не сказал мне об этом прежде?

– Значит это то, – продолжал Тяжеленко с расстановкою, – что у Зуровых недуг.

– Что ты говоришь? Какой недуг? – вскричал я с ужасом.

– Странный, братец, очень странный и заразительный. Сядь, слушай и не торопи меня... Я предвижу, что мне нынче и без того придётся до смерти устать. Шутка ли, сколько рассказывать! Да нечего делать: надо спасти тебя. Не говорил я тебе до сих пор об этом потому, что не было никакой надобности: ты жил в Петербурге только зиму, а в это время в них заметить ничего нельзя; ума у них пропасть, время неприметно летит в их беседе; а вот летом, так чудо! они на себя не похожи; совсем другие люди; не едят, не пьют: только одно на уме... Жалость! жалость! а помочь нечем!

– По крайней мере скажи мне название и свойство болезни, – спросил я.

– Названия ей нет, потому что это, вероятно, первый случай; а свойство сейчас объясню. Как бы, с чего начать?.. Вот, видишь ты... Да это премудрёная вещь, когда не знаешь имени... Ну, хоть пускай, назову пока «лихой болезнью», а там как медики дознаются, то окрестят по-своему. Дело в том, что Зуровым летом дома не сидится: вот какой страшный, убийственный недуг.

И Тяжеленко одним вздохом выпустил с полфунта воздуха, сделав прекислую гримасу, как будто у него из зубов вытаскивали лакомый кусок. Я захохотал.

– Помилуй, Никон Устиныч! да это – недуг только в твоих глазах. Ты сам одержим гораздо опаснейшею болезнью: целый век лежишь на одном месте. Эта крайность скорее доведёт до гибели. Или ты, может быть, шутишь?

– Какие шутки! болезнь, братец, страшная болезнь! Наконец скажу яснее: их губит неодолимая страсть к загородным прогулкам.

– Да это приятнейшая страсть! Я сам дал слово участвовать в поездках.

– Ты дал слово? – воскликнул он. – О несчастный Филипп Климыч! что ты сделал! Ты пропал! – Он чуть не заплакал. – Ты уж и с Вереницыным говорил об этом?

– Нет ещё.

– Ну, слава богу! есть время всё исправить: только слушайся меня. – Я в недоумении смотрел на него, а он продолжал: – Я сам, бывало, помнишь ли, в старые годы, когда имел глупость большую часть дня и даже ночи проводить на ногах: то-то молодость! – не прочь пойти в лес с маленьким запасом, например... этак... с жареной индейкой под мышкой и с бутылкой малаги в кармане; сяду под дерево в тёплый день, поем и лягу на травку; ну – а потом и домой. А эти люди убивают себя прогулками. Вообрази, до чего дошли! если летом в который день остаются дома, то, по собственному их признанию, которое я подслушал в один из припадков, их что-то давит, гнетёт, не даёт им покою; какая-то неодолимая сила влечёт за город, какой-то злой дух вселяется в них, и вот они... – Тут Тяжеленко начал говорить с жаром: – Вот они плывут, скачут, бегут и, приплывши, прискакавши, прибежавши туда, ходят чуть не до смерти – как не падут на месте! то взбираются на крутизны, то лазят по оврагам. – Здесь каждое из этих понятий он сопровождал живописным жестом. – Пускаются вброд по ручьям, вязнут в болотах, продираются между колючими кустарниками, карабкаются на высочайшие деревья; сколько раз тонули, свергались в пропасти, вязли в тине, коченели от холода и даже – ужас! – терпели голод и жажду!

Всё это красноречие выходило из Тяжеленки вместе с потом. О, как он был прекрасен в эту минуту! благородное негодование изображалось на обширном челе его, крупные капли пота омывали лоб и щёки, а вдохновенное выражение лица позволяло принять их за слёзы. Предо мной воскресли золотые, классические времена древности; я искал ему приличного сравнения между знаменитыми мужами и отыскал сходство в особе римского императора Вителлия.

– Браво! брависсимо! хорошо! – кричал я, а он продолжал:

– Да, Филипп Климыч! бедствие, сущее бедствие постигло их! Ходить целый день! Хорошо, что они ещё потеют: это спасает их; но скоро и эта благодатная роса иссякнет от изнурения, и тогда – что с ними станет? А зараза глубоко пустила корни; она медленно течёт

по жилам их и пожирает жизненную эссенцию. Этот добрый Алексей Петрович! эта любезная Марья Александровна! почтенная бабушка! дети – бедные молодые люди! Юность, цветущее здоровье, блестящие надежды – всё истает, исчезнет в изнурении, в тяжких, добровольных трудах! – Он закрыл лицо руками, а я захохотал. – И ты можешь смеяться, жестокосердый человек?

– Да как же, братец, не смеяться, когда ты, равнодушнейший человек, беспечный до того, что если бы мир обрушился над твоею головою, ты бы не раскрыл рта спросить, что за шум, – ты целый час убиваешься и потеешь, а если б мог, и заплакал бы оттого только, что другие предаются ненавистнейшему для тебя удовольствию – прогулке!

– Ты всё ещё не постигаешь, что я не шучу. Разве ты не видал зловещих признаков? – сказал он с досадой.

– Не знаю... мне показалось... Однако, какие же это признаки? – спросил я.

– А беспрестанная зевота, задумчивость, тоска, отсутствие сна и аппетита, бледность и в то же время какие-то чудные пятна по всему лицу, а в глазах что-то дикое, странное.

– Вот об этом-то я и пришёл спросить тебя.

– Ну так пойми же и знай, что лишь только они вспомнят о лесах, полях, болотах, уединённых местах, то все эти признаки обнаруживаются и ими овладеет тоска и дрожь до тех пор, пока они не удовлетворят бедственному желанию: тогда они торопливо несутся вон, не оглядываясь, едва захватив с собой необходимое, как будто подстрекаемые, гонимые всеми демонами ада.

– Да куда ж они ездят?

– Всюду: на тридцать вёрст от Петербурга нет ни одного куста, которого бы они не обшарили. Не говорю об известных местах – Петергофе, Парголове, которые всеми посещаются: они теперь ищут мало посещаемых захолустьев, для того чтоб, слышь, беседовать с природой, дышать свежим воздухом, бежать от пыли, и... кто их знает ещё от чего! Послушай Марью Александровну, она тебе понаскажет: тут, дескать, от одних рынков да ресторанов задохнёшься! Гм! какая несправедливость! какая чёрная неблагодарность! от рынков и ресторанов, этих приютов здоровья, мирного счастья! бежать средоточия произведений двух богатейших царств природы – животного и растительного; задыхаться воздухом тех мест, где сладчайшей потребности, еде, созидают чертоги, сооружают алтари! Скажи-ка мне, какая площадь величественнее Сенной и чем уступает выставка естественных произведений, которая бывает на ней, выставке художественных? Наконец, бежать наслаждения, которое только одно не убегает нас и – вечно юное, всегда свежее, ежедневно осыпает новыми, неувядаемыми цветами! Всё остальное есть призрак; всё непрочное, непостоянное; прочие радости ускользают от нас в ту минуту, когда их достигаешь, тогда как тут, если бы что-нибудь и вздумало ускользнуть, то меткая пуля летит вперёд, по гласу прихотливого желания, и покоряет дерзкое существо. Зачем же эти удобства и обширные средства, как не для того, чтоб с признательностью наслаждаться и...

Видя, что Тяжеленко ударился в тонкости гастрономии, науки, которую он обрабатывал с успехом как теоретически, так и практически, в чём и дал мне два образца в одно утро, я остановил его.

– Ты забыл о Зуровых, – сказал я.

– Что тебе ещё говорить об них? Погибшая семья! Вообрази, – продолжал он, – что обыкновенная прогулка Алексея Петровича составляет такой круг, который едва ли не превосходит сумму прогулок всей моей жизни. Он, например, отправляется из Гороховой в Невский монастырь, оттуда на Каменный остров, там гуляет, гуляет, переходит на Крестовский, с Крестовского через Колтовскую на Петровский, с Петровского на Васильевский и назад в Гороховую, каково? и всё это пешком, и всё бегом – не ужас ли? То ли ещё! Иногда в глубокую ночь, когда всё лежит, и богатый, и бедный, и звери, и... птицы...

– Кажется, птицы не лежат, – заметил я.

– Да... ну всё равно. А жаль их! Зачем бы природе лишать их этого невинного наслаждения! На чём, бишь, я остановился?

– Птицы, сказал ты.

– Да ведь ты говоришь, что птицы не лежат? Постой же; кто ещё лежит?..

– Да нельзя ли, любезный Тяжеленко, попростее, так, знаешь, поближе к предмету? А то ведь устанешь.

– Правда, правда. Спасибо, что напомнил. Позволь же, я лучше прилягу: мне тогда будет ловчее. – Он прилёг на подушки и продолжал: – Итак, иногда ночью вдруг Алексей Петрович вскочит с постели, выйдет на балкон и потом будит свою супругу: «Какая славная ночь, Марья Александровна! что, если бы поехать!» И вдруг – куда девается сон! весь дом вскакивает, наскоро одеваются и бегут вон в сопровождении двух вернейших слуг – увы! также зачумлённых. Или в другой раз, чему я сам бывал свидетелем, в середине обеда, в самый отрадный момент нашего бытия, между соусом и жарким, когда первые порывы голода миновались, но приемлемость к дальнейшим наслаждениям ещё не притупилась, вдруг Алексей Петрович восклицает: «Что, если бы мы доели это пирожное и жаркое за городом!» За мыслью мгновенно следует исполнение, – и жаркое с пирожным улетают в поле, а я, один, со слезами на глазах, возвращаюсь домой. Короче, никогда ни один поклонник женолюбивого пророка не стремился с такою жадностью в Мекку, ни одна московская или костромская старуха не жаждала так сильно подышать святостью киевских пещер.

– При таком влечении к природе, им бы жить на даче или в деревне, – сказал я.

– Они и жили прежде, но дети выросли; заботы об их воспитании и другие важные обстоятельства удерживают их в городе. Пускай бы уж они одни несли бремя «лихой болезни», а то вот беда: при их достоинствах, многие ищут знакомства с ними, и те, которые живут лето здесь, – погибают. Старый профессор начинает тосковать, теряет аппетит и сон; у племянницы его Зинаиды ubyло несколько поклонников, которым не понравился новый талант её – зевота; и прелестной супруге дипломата несдобровать бы, если бы она не уезжала каждый год летом на воды.

– Мне кажется, так недуг-то у тебя, – сказал я, – вот уж мне от твоих пустяков спать хочется.

– В этом я тебе никогда не помешаю, – отвечал Тяжеленко с неудовольствием, – равно как и в том, хочешь ты верить или нет.

– Ну, не сердись, мой милый! а лучше скажи, как же хотел спасти меня и где корень зла?

– Как! разве я тебе по сю пору не сказал ещё? Вереницын, братец: вот кто всему причиной! он и Зуровых заразил!

– Возможно ли! кажется, человек такой к ним приверженный...

– Да, да, – прервал Никон Устинович, – славный человек, и поесть любит, и всё; да что ж делать! Лет восемь назад он отправился путешествовать по России, был и в Крыму, и в Сибири, и на Кавказе – охота же людям шататься по свету! точно как нечего глотать здесь! – наконец уединился в Оренбургском крае и жил всё там, а года четыре назад возвратился сюда с переменною в характере и «лихой болезнью». Он по-прежнему посещал Зуровых каждый день и каждый день вливал понемногу отравы в их мозг – и отравил; и все те, которые ближе, искреннее с ним, скорее, легче и более заражаются.

– Что же, – спросил я, – осведомлялся ли ты о причине этой странности?

– Как же! у него самого, да он всегда глухо отвечает, с неудовольствием отворотится и проворчит сквозь зубы: «Так, болезнь!» Впрочем, экономка Зуровых, Анна Петровна, моя добрая приятельница, сказывала мне под секретом, что будто он, живучи в Оренбургском краю, частенько ездил в степи и влюбился там в какую-то калмычку или татарку, кто его знает! Видишь, он какой! от него слова путного не добьёшься; попробуй-ка спросить его когда-нибудь: «Что вы, Иван Степаныч, обедали сегодня? какие кушанья?» – ни за что не скажет:

пренеоткровенный! Итак, Анна Петровна утверждает, что он даже жил в улусах кочующих племён и прижил там двоих детей, которых девал неизвестно куда. Ну, что мудрёного, если он среди степей приобрёл это расположение к полям? а что оно приманчиво, так это не чудо: азиатские колдуны всегда были мудрёнее европейских. Читал ли ты, что пишут про арабских волхвов? чудеса! Может быть, калмычка из ревности заворожила его. Зайди-ка к нему вечером когда-нибудь: проклятые-то так и смотрят ему в глаза!

– Кто проклятые?

– А котята-то! двое всегда за пазухой, двое на столе, да двое на постели; а днём всё пропадают. Что ни говори, а тут не просто!

– И тебе не стыдно верить таким пустякам?

– Я не верю, а только пересказываю предположения Анны Петровны.

– До сих пор, однако же, не успел сказать мне, почему ты не заразился сам и есть ли какое средство к спасению?

– Постоянного нет; всякий должен сам придумать. Меня предостерёг покойный полковник Трухин, который также не был подвержен «лихой болести». Он был малый не промах, и как скоро Вереницын стал его заговаривать, тот, чувствуя в себе что-то необыкновенное, употребил все силы, чтобы исторгнуться из беды. К счастью, он вспомнил какое-то стихотворение, которое нагоняло всегда тоску на Вереницына. Полковник и давай декламировать: тот упал в обморок, а он спасся. С тех пор Вереницын больше не покушался погубить его, хотя он вообще усердно хлопочет об этом и, как демон-искуситель, вкрадывается в душу, усыпляет, доводит до бесчувственности, а там уж и поразит своею чарою, – не знаю, съесть ли, выпить ли что даст... Ну вот когда он расположился опутать меня адовыми сетями, я стал придумывать, как бы сразить его чем-нибудь необыкновенным, что особенно предписывал мне Трухин. Я думал, думал, думал и наконец – угадай, чем поразил?

– Не знаю, – отвечал я.

– Ты помнишь мой голос?

– Твой голос? что, бишь, это такое?..

– Ну, неужели не помнишь? Вот, постой, я спою.

Он вытянул губы, надул щёки и хотел уж огласить храмину нечестивыми звуками, но мне вдруг припомнился этот скрип немазанных колёс: у меня от воспоминания затрещало в ушах, я замахал руками и благим матом закричал:

– Помню, помню! Сделай милость, не начинай! Чудовищный голос!

– Ну, то-то же, – сказал он. – Хотя моя родина славится мелодическими голосами, да в семье не без урода! Так когда только лишь он начал заговаривать меня, я вдруг запел во всё горло: он зажал уши и скрылся. Ты тоже изобрети что-нибудь, только помни, что надобно ошеломить его с первого раза, а иначе прощай! погибнешь. После Зуровы сами затеяли было втянуть меня и уговорили пойти прогуляться в Летний сад, вероятно, с намерением увлечь оттуда за город. Дорого стоило им исторгнуть моё согласие; наконец, мы пошли. Я, заметив их враждебный умысел, стал оглядываться, куда бы скрыться, – и что же? колбасная лавка в двух шагах! Думать нечего: они заговорились, а [я] и нырнул в неё. Они никак не догадались, куда я скрылся: осматривались, осматривались, а я поглядываю из окна да помираю со смеху! Вот всё, что могу сообщить тебе о «лихой болести», – больше не спрашивай. Посмотри мне в лицо: видишь, как в нём нарушено спокойствие горестными воспоминаниями и продолжительным рассказом? Постигни же и почти великость жертвы, принесённой дружбе; не тревожь моего покоя и – удались. Эй, Волобоенко! – закричал он своему человеку, – воды! окати мне голову, опусти сторы и не беспокой меня ничем до самого обеда.

Напрасно я пытался сделать ему ещё несколько вопросов: он остался непреклонен и свято хранил упорное молчание.

– Прощай, Никон Устиныч! – Он молча кивнул головой, и мы расстались.

«Кто ж из них болен? – думал я по выходе от него, – верно, Тяжеленко. Что за вздор молот он мне об этих милых, добрых Зуровых? Как я посмеюсь с ними над ленью моего приятеля!»

Погуляв ещё немного, я возвратился к Зуровым, и хотя час обеда приближался, но ни слуги, ни господы не думали об том. Алексей Петрович занимался с старшими детьми приведением в порядок рыболовного снаряда; Марья Александровна что-то писала. Я заглянул в бумагу и прочитал сверху надпись крупными словами: «Реестр серебру, столовому белью и посуде, назначенным на сие лето для загородных прогулок».

«Ого! – подумал я, – да приготовления-то идут не на шутку!»

А ещё подальше Феклуша штопала серые чулки под цвет пыли, тоже для прогулок. Марья Александровна приветствовала меня зевотою.

– Иван Степаныч вас ждёт в бильярдной, – сказала она. – Теперь ещё рано: он просит сыграть с ним партию.

Вереницын встретил меня с тем видом, с каким встречает вас купец в лавке, портной в своей мастерской, то есть с надеждой на добычу. Мы вооружились киями и стали играть. Вдруг во время игры случилось мне взглянуть на него попристальнее: он зевал и с тоскливой миной поглядывал на меня.

– Что вы? что вы? – вскричал я, подбежав к нему.

– Ничего, продолжайте играть, – сказал он басом, – сорок семь и тридцать четыре.

– Нет, – отвечал я, – мы доиграем после, а теперь позвольте отдохнуть: я много ходил.

– И прекрасно! сядемте же на диван.

Мы сели. Я положил голову на подушку. Он, приклонясь к моему уху, начал что-то нашёптывать так тихо, что я не мог расслышать ни слова. Мне стало скучно: я задремал.

– Вы спите? – спросил он торопливо.

– Поч... ти... – пробормотал я сквозь сон.

– Ах, не спите, пожалуйста! мне надо поговорить с вами о многом, а я только начинаю.

– Из... ви... ните... не... могу...

Далее не помню, что было: я заснул; только впросонках слышал, как он, уходя, проворчал со вздохом: «Опять неудача! этот заснул, не слушав. Видно, придётся не распространять моего недуга далее, а влачить его целый век одному и ограничиться единственными спутниками, Зуровыми».

Не знаю, долго ли я спал; человек разбудил меня, когда уже все сели за стол.

«Опять неудача, сказал он, – думал я. – Неужели рассказ Тяжеленки справедлив? Бедные Зуровы. А я, стало быть, избавился от дьявольского прельщения благодатным сном!»

За обедом кроме Зуровых была ещё Зинаида с дядею. Сначала разнообразный разговор весело перебежал между собеседниками; но к концу обеда вдруг Алексей Петрович начал неистово зевать, и зевота сообщилась всем, кроме меня.

– А когда за город? – спросил Алексей Петрович, обращаясь к Вереницыну.

– Послезавтра, – отвечал тот.

– Бабушка! – закричал Володя, – какова погода будет послезавтра?

– Облачно, – отвечала старуха.

– Что за беда, что облачно! – сказала Марья Александровна, – хоть бы и дождик, мы всё можем ехать.

– Помилуйте! – воскликнул я, – дождитесь по крайней мере мая: теперь холодно, в поле даже нет травы. Как можно за город в апреле месяце, и с вашим здоровьем!..

– А что ж, разве моё здоровье худо? – прервала она меня. – Я довольно часто бываю здорова: помните, в свои именины, на третий день Рождества, Великим постом три раза чувствовала себя хорошо, – чего ещё хотеть?

– А вы поедете? – спросил у меня Алексей Петрович, – вы дали слово.

– Я готов разделять с вами это удовольствие, – отвечал я, – только не прежде июня месяца, а не беспрестанно и во всякое время, как вы собираетесь. Я не понимаю, как не наскучит быть слишком часто за городом: что там делать?

– Возможно ли! – закричали все хором, – что делать за городом! – И начали.

– Сидеть без шапки на жару и удить рыбу, – вопил неистово Алексей Петрович.

Фёкла:

– Есть масло, сливки, собирать ягоды и грибы.

Зинаида:

– Взирать на лазурь неба, дышать ароматами цветов, глядеться в водный ток, блуждать по злаку полей.

Вереницын:

– Ходить с трубкою даже до усталости, смотреть на всё задумчиво и заглядывать в каждый овраг.

Бабушка:

– Сидеть на траве и жевать изюм.

Старший сын, студент:

– Есть чёрствый хлеб, запивать водой и читать Virgiliya и Феокрита.

Володя:

– Лазить по деревьям, доставать гнёзда и вырезывать из сучьев дудки.

Марья Александровна:

– Короче, наслаждаться природою в полном смысле этого слова. За городом воздух чище, цветы ароматней; там грудь колеблется каким-то неведомым восторгом; там небесный свод не отуманен пылью, восходящею тучами от душных городских стен и смрадных улиц; там кровообращение правильное, мысль свободнее, душа светлее, сердце чище; там человек беседует с природой в её храме, среди полей, познает всё величие...

И пошла! и пошла! О господи! больнѣхонько! Вижу, вижу, прав Никон Устиныч – погибающая семья! Я поник головой на грудь и молчал, да и к чему бы послужили противоречия? можно ли бороться одному с толпою?

С того времени я стал грустным наблюдателем хода «лихой болести». Иногда мне приходило на мысль попробовать избавить их, хотя на время, силою от дьявольского обаяния, заперев двери в минуту отъезда, или броситься к знаменитейшим врачам и, возбудив сначала любопытство, а потом участие, умолять о помощи несчастным страдальцам; но это значило бы поссориться с ними навек, потому что они не теряли рассудка, и когда не было в помине прогулок, то это были те же «зимние Зуровы», то есть те же любезные и добрые, как и зимой.

Не стану утомлять читателя изображением всех разнообразных оттенков и отдельных случаев «лихой болести»: в рассказе моего приятеля Тяжеленки, который я передал почти без перемены, заключается общее понятие об этой болезни, а мне остаётся только прибавить, для большей ясности и достоверности, описание одной или двух поездок, наиболее обличающих болезненное состояние духа моих знакомых.

Каждая из них непременно отличалась каким-нибудь особенным приключением: то ломалась ось, коляска опрокидывалась набок, и оттуда, как из рога изобилия, сыпались разные предметы в чудеснейшем беспорядке – кастрюльки, яйца, жаркое, мужчины, самовар, чашки, трости, галоши, дамы, крендели, зонтики, ножи, ложки; то многодневный дождь и усталость заставляли искать убежища в хижине, которая тоже превращалась в любопытную сцену по своему разнообразию, – теляты, ребятишки, голые лавки, чёрные стены, русские и чухонские мужчины, тараканы, сковороды, тарелки, русские и чухонские дамы, салоны, плащи, армяки, дамские шляпки и лапти без приготовления разыгрывали разнохарактерный дивертисмент. Кроме общего, большого случая происходили частные и мелкие: то кто-нибудь из детей падал в воду, то Зинаида Михайловна ошибкою обмакивала стройную ножку в тинистую канаву...

Но можно ли пересказать всё, что случилось во время этих набегов на поля и леса; да и могло ли быть иначе, когда несчастные сами стремились навстречу всем неудобствам? Так, помню я, однажды утром, когда погода была ещё изрядная, мы согласились в тот же день после обеда ехать в Стрельну, осмотреть тамошний дворец и сад. Во время обеда свинцовая туча покрыла небо, вдали перекатывался гром; наконец ближе, ближе, и полился страшный дождь. Я было обрадовался, думая, что без всякого сомнения прогулка будет отложена, тем более что крупный дождь превратился в мелкий и продолжительный; но напрасно я радовался: часов в пять подъехало ко крыльцу несколько наёмных экипажей.

– Что это значит?

– Как что? а в Стрельну? – воскликнули все.

– Да неужели кто-нибудь осмелится ехать в такую погоду?

– А чем погода дурна? только дождь.

– Этого вам мало! Но ведь мы можем иззябнуть, простудиться, умереть.

– Так что же? зато погуляем! С нами пять зонтиков, семь непроницаемых плащей, двенадцать галош и...

– И удочки! – прибавил Алексей Петрович.

Делать нечего; я дал слово и поехал. Дождь ливнем лил до другого утра, а потому мы, приехав в Стрельну, должны были, не осматривая дворца, ехать прямо в трактир, где имели наслаждение напиться чаю сомнительного качества, цвета и вкуса да пожевать сухого бифстека.

С той поры я стал реже ходить к Зуровым, потому что по милости прогулок был три раза болен, да и самих их часто не заставлял дома, а если и заставлял, то всегда среди приготовлений к прогулкам или в отдохновении от них, – чаще они бывали больны. Однако я всё ещё не отчаивался в их выздоровлении и думал, что советы друзей, помощь врачей и, наконец, утекающее здоровье истребят корень несчастной мономании. Увы! как я жестоко ошибался! следующие три припадка, или – по их названию – три прогулки, достаточно покажут, до какой степени «болезнь» овладела несчастными.

Однажды я пришёл к ним вечером и удивился тишине, которая господствовала в доме, где весёлые восклицания, смех, звуки фортепьяно обыкновенно сменялись одни другими. Я спросил человека о причине непостижимого молчания.

– Несчастье, сударь, случилось, – отвечал он шёпотом.

– Какое? – спросил я в испуге.

– Старая барыня изволила ослепнуть.

– Возможно ли! О боже! бедная бабушка! Отчего?

– Вчера за городом очень долго изволили сидеть на жару и пристально смотреть на солнце, а когда приехали домой, так уж ничего не изволили видеть.

В гостиной встретил меня Алексей Петрович и подтвердил сказанное, прибавив, что он сожалеет о бабушке, тем более что это обстоятельство остановило на время поездки. Я пять раз покачал головой, из которых одним старался выразить сожаление о бабушке, а четырьмя – негодование на слова Алексея Петровича.

«Ну, – думал я, – по крайней мере дня четыре посидят дома; я очень рад; авось понемногу отстанут». С этими утешительными мыслями я ушёл домой и лёг спать.

На другой день утром, часу в шестом, смешанные голоса и шум многих шагов на тротуаре разбудили меня и заставили встать с постели. Полагая, что поблизости случился пожар, я выглянул из форточки на улицу, и что же представилось моим взорам! Алексей Петрович без шапки, с развевающимися волосами, с дикою радостью в глазах, пожирал скачками пространство; плащ на нём раздувался от ветру, как парус; в руках были две удочки со всем прибором; а за ним дети, мал мала меньше, неслись с воплями, прискакивая, отставая, забегая вперёд. Я остоленел; ещё ни разу «болезнь» не обнаруживалась в такой сильной степени. Смотрю – вся ватага остановилась и начала зевать перед моими окошками.

– Куда стремите ваш бег, несчастные, и почто возмущаете покой ближнего? – возопил я вдохновенным голосом. Так как они показались мне в эту минуту особенными существами, на которых лежит печать проклятия, то я и почёл за нужное употребить, как водится в подобных случаях, особенный язык в разговоре с ними.

– Пешком в Парголово! – закричали они хором.

– Ужели? А бабушка?

– Пускай её! мы не вытерпели; при ней осталась жена. Пойдёмте с нами.

– В уме ли вы? Ведь до Парголова двенадцать вёрст!

– Так не идёте?

– Ни за что!

– У! у! у! – завывли они и понеслись далее.

Я долго смотрел им вслед, и две крупные слезы скатились с ресниц моих.

«За что тяготеет над ними кара небесная? – подумал я. – Господи! неисповедимы судьбы Твои».

Часа через три после того сильный туман, который ещё с полночи разостлался над городом, превратился в частый дождь и с севера поднялся холодный ветер. Я вспомнил о несчастных, и сожаление не позволило мне оставаться хладнокровным к их гибели. Я поспешно оделся, взял с собою цирюльника, за неимением знакомого лекаря, и на дрожках отправился в погоню, чтоб подать помощь, которая, как я полагал, будет им необходима, и не ошибся.

В самом Парголове я их не нашёл, а от мужиков узнал, что они ушли ещё вёрст за семь, на какое-то озеро, удить рыбу и избрали для того болотистую дорогу, а по проезжей не пошли. Нечего делать, надо было ехать по их следам. Вскоре эти следы открылись: то были растерянные фуражки и перчатки, как такие вещи, которые, по мнению Алексея Петровича, только мешали в прогулках. Наконец нашёл: Алексей Петрович сидел на берегу с мутными глазами, свесив ноги в воду по самые колена и держал в руках удочку. Он дремал и бредил, потому что вся кровь бросилась от ног в голову. Подле него, с разинутым ртом, лежал окунь, а далее местами, точно в таком же положении, валялись дети, окоченевшие от холода. Сапоги у них до половины были наполнены водою, а платье промочено дождём. Цирюльник, похлопотав с полчаса, успел привести их в чувство, а я между тем сбегал в ближайшую деревню и нанял три чухонские тележки, в которые уложив Алексея Петровича с детьми и накрыв рогожами, повёз в город в отчаянном положении.

После этого приключения я не заглядывал к ним целые две недели. Наконец в воскресенье, утром, вхожу в переднюю. Там оба зачумлённые лакея, со всеми зловещими признаками, спорили, как лучше ездить за город и наслаждаться воздухом – стоя на запятках или сидя с кучером на козлах.

«Эге! да здесь опять нездорово! – подумал я, – видно, наши едут».

Из залы послышался голос Алексея Петровича: он приказал подавать экипажи. Я опрометью бросился вон, с намерением возвратиться вечером, проведать, не случилось ли с ними чего, то есть не убится ли кто-нибудь, не простудился ли, не утонул ли, не ослеп ли и проч. Часу в десятом я пришёл и – охнул от удивления: они не походили на самих себя. Бледные, тощие лица, растрёпанные волосы, запёкшиеся уста и мутные взоры – вот что поразило меня в них. Иной, не зная причины, подумал бы, что они претерпели страшную пытку, и действительно, они могли бы, не нарушив приличия, проплясать танец мёртвых в «Роберте». Марья Александровна лежала на постели и едва дышала; на столике подле неё стояло множество баночек и пузырьков со спиртами и разными крепительными и успокоивающими медикаментами. В столовой оба недужные человека, также бледные и изнурённые, накрывали на стол.

– Откуда? что с вами? – были мои первые вопросы.

– Славно погуляли, – отвечал Зуров, едва переводя дыхание. – Вот мы вам расскажем.

– Погодите, успокойтесь прежде: вы сейчас умрёте.

– Эй! давайте скорее кушать! Смерть есть хочется.

– Да разве вы ужинать хотите?

– Нет, обедать.

– Как обедать! неужели по сю пору не обедали?

– Нет ещё. Сначала некогда было: всё ходили, и даже немножко устали, а потом, как захотелось есть, мужики ничего не дали, кроме молока, а мы взяли с собой только солёных булок в надежде, что к обеду воротимся, так и не ели. Да в еде ли дело! Зато как славно погуляли!

– Где же вы были? – спросил я.

– За Средней Рогаткой, пять вёрст в сторону от большой дороги, есть славное место!

– Ах, что за место! – сказала едва внятным голосом Марья Александровна и приняла несколько капель, – какие виды! Жаль очень, что вы с нами не поехали. Как иногда бывает игрива и вместе великолепна природа! Расскажи, Зинаида, – я не могу.

– Представьте себе, – начала Зинаида, – преживописный песчаный косогор над канавой; на косогоре три сосны да берёза – точь-в-точь над могилой Наполеона, как справедливо заметил Иван Степаныч; далее видно озеро, которое то трепещет от ветра, как кисейное покрывало, то замирает и лежит неподвижно, гладкое и блестящее как зеркало; по берегам его со всех сторон теснятся маленькие хижинки, как будто желают спрыгнуть в воду, – всё приюты неза-тейливого счастья, труда, довольства, любви и семейных добродетелей! Через озеро, с одного крутого берега на другой, с удивительным искусством и смелостью, которые сделали бы честь лучшему инженеру, переброшен мост из лёгких жердей, устланный... чем, бишь, *mon oncle*?³ вы давеча сказали, да я забыла.

– Навозом, моя милая, – отвечал профессор, – вещь самая простая.

– Да, может быть; только это придаёт пейзажу особенный, чрезвычайно живописный вид и напоминает Швейцарию и Китай. К сожалению, природа и там, вдали от толпы, не свободна от нечистого прикосновения людей! Представьте: в этом милом озере, на которое, кажется, самый ветерок едва может дышать, солдаты моют бельё, и мыльная пена растекается по всей поверхности!

– Стало быть, ваше озеро не больше этой комнаты, – заметил я, – когда мыло покрывает всю поверхность.

– Нет, побольше, – нерешительно отвечал Зуров.

– Погода нынче прекрасная, – продолжала Зинаида Михайловна, – а там она вдвое хороша: зной необыкновенный...

– Да, славно жарило! – примолвил Алексей Петрович, – у меня даже во рту пересохло. Чудо! прелесть! люблю жары! Я дорогой потерял шапку и удил всё с открытой головой.

– Вероятно, из почтения к рыбам, – сказал я.

– Нет, рыбы не было: всё лягушки попадались. Да что до этого за дело! Понимаете ли вы одно бескорыстное наслаждение сидеть и ждать, когда зашевелится поплавок? Вы – профан! никогда не поймёте этого божественного ощущения. Для этого надобно иметь не такую чёрствую душу, как ваша, и чувство понежнее.

Я спросил Зинаиду Михайловну продолжать, и она опять начала:

– Итак, зной необыкновенный, как под тропиками; место открытое, тени нет, спрятаться некуда, – настоящая Аравия! А что за воздух! как в Южной Италии! отовсюду веет ароматом, но опять люди нарушают гармонию: там, где царствует сладостный запах, где под каждой травкой наслаждается жизнью насекомое, где ветерок ласкает каждый цветочек, где пернатые поют согласным хором хвалебный гимн Творцу, – и там, как черви, копышались люди, и туда при-несли свои мелочные заботы: рабы презренных нужд и расчёта, они унизили рабством при-

³ Дядюшка (фр.).

роду. Вообразите, что на этом клочке земного рая они завели... какой, бишь, завод, mon oncle? я опять забыла.

– Салотопенный, – отвечал старик. – Ты забываешь самые обыкновенные вещи.

– Вот это в самом деле неудобно! – простонала бабушка, – я чуть не задохлась от дыму, а вонь какая – упаси Создатель!

– Зачем вы старушку-то берёте? – сказал я вполголоса. – Она только что оправилась от недавней болезни, да, кроме того, ей бы и не по летам разъезжать.

Старуха услышала.

– Что ты это, батюшка, отговариваешь их брать меня? – сердито проворчала она, – ведь я живой человек; что мне дома-то делать?

– Ну а вы, дети, как себя чувствуете после прогулки?

– У меня голова от жару трещит, а то весело было.

– И мне бы славно, да целый день всё что-то тошнило.

– У меня так лицо перетрескалось – нельзя дотронуться.

– А у меня целый день в животе ворчит, не знаю отчего, – проговорили они один за другим.

– А Вереницын был с вами?

– Как же! он и поездку-то затеял.

– Где же он?

– Его отнесли домой.

– Как отнесли?

– Он очень много ходил; у него ноги отнялись.

– Вот тебе раз! Славно же вы гуляете. Теперь видите ли, – начал я проповедовать, – понимаете ли, до чего доводит вас гибельная страсть? Ведь это болезнь, неужели вы не замечаете? Смотрите: Марья Александровна едва дышит; Зинаида Михайловна теряет прелестный цвет лица и худеет ко вреду своего здоровья и красоты; дети почти при смерти; вы сами, Алексей Петрович, укоротили свой век по крайней мере на десять лет. Отстаньте! ну, право, ей-богу, отстаньте!

Он задумчиво смотрел на меня и, казалось мне, раскаивался. Я обрадовался.

«Вот действует! – думал я, – каково! с пяти слов!»

– Постойте, – вдруг вскричал он, – слушайте, что я скажу: как скоро жена и дети выздоровеют от этой прогулки, мы учреждаем пикник и едем в Токсово!

– Браво! брависсимо! – грянули все.

Я махнул рукой, вздохнул и располагался выйти, бросив слёзный взгляд на Фёклу Алексеевну.

– Вы с нами едете, непременно едете! – сказал мне Алексей Петрович, иначе поссоримся.

– Поезжайте, – примолвила Зинаида Михайловна, – а то вы, как ваш приятель Тяжеленко, от лени растолстеете и будете похожи на кубарь.

– Что ж за беда! тогда мне не нужно будет ходить, а только перекатываться с места на место, что, кажется, легче.

На другой и следующие дни утром я получал по три записки, которыми напоминали мне о пикнике. Зачумлённые лакеи попеременно ходили ко мне, и между ними и моими людьми завелись даже подозрительные связи, что не на шутку встревожило меня, и потому, для потушения зла в начале, я отправился сам к Зуровым для переговоров, как и когда ехать. Назначили через неделю и на мой вопрос, что привезти, отвечали: «Что хотите».

Тут мне опять пришлось в голову попытаться спасти их. Место отдалённое: легко может случиться несчастье, а здоровый только один я: кто станет отвечать? Но как предупредить опасность? Броситься к обер-полицеймейстеру, рассказать ему откровенно всё и просить команды, которую скрыть в засаде, для наблюдения, а потом, в случае беды, вызвать сигналом. Но вве-

риться обер-полицеймейстеру – значит обнаружить зло перед всеми, а этого бы мне не хотелось. Пойду посоветуюсь с Тяжеленкой.

– Да какого же несчастья ты опасешься? – спросил он.

– Например, пожара в деревне, от неосторожности. Ты знаешь, что в поле они сами не свои: поставят самовар, закурят сигарку и потом бросят. Боюсь, чтоб кто-нибудь из них не утонул, не убили. Да мало ли что может случиться?

– И! не тревожься, этого не будет. Ведь они помнят себя. Ты только наблюдай, чтобы они не ходили чересчур, не простудились, а главное – не оставались бы долго без пищи: вот что важно!

– Где ж мне одному усмотреть за всеми! Знаешь ли что, любезный Никон Устиныч: ты никогда не был прочь от доброго дела; покинь на один день леность и поедem со мной.

Он сурово взглянул на меня и не сказал ни слова. Это, однако же, не смутило меня: я ещё раз покусился уговорить и – вообразите! – к вечеру успел исторгнуть из него согласие, обещав обеспечить его со стороны продовольствия и экипажа.

В назначенный день, в семь часов утра, мы с ним догнали за заставой шарабан, в котором кроме самих Зуровых помещался старый профессор с Зинаидой Михайловной, а сзади в коляске ехали дети. Тяжеленко взял любимого своего лакомства – ветчины, а я конфет и малаги.

По дороге мы останавливались по крайней мере раз восемь: то Марье Александровне желалось понюхать цветочек, растущий на завалине; то Алексею Петровичу казалось, что в большой луже, образовавшейся от дождей, должна водиться рыба, и он закидывал удочку; между тем дети во время этих остановок беспрестанно что-то ели. Но как всему на свете есть конец, то и мы наконец добрались до какого-то села, где оставили экипажи и при них человека, а другого взяли с собой. Алексей Петрович тотчас куда-то скрылся с двумя старшими детьми; бабушку, по причине слепоты, посадили на траву недалеко от села, где остановились; а Тяжеленко, едва сделал шагов двести, как упал в изнеможении подле бабушки. Мы, оставя их там, сами пошли и, как говорится в сказках, шли, шли, шли, – и не было конца нашей ходьбе; скажу только, что мы спускались в пять долин, обогнули семь озёр, взбирались на три хребта, посидели под семьдесят одним деревом прострannого и дремучего леса и при всех замечательных местах останавливались.

– Какая мрачная бездна! – сказала Марья Александровна, заглянув в один овраг.

– Ах! – с глубоким вздохом прибавила Зинаида Михайловна, – верно, она не одно живое существо погребла в себе. Посмотрите: там, во мгле, белеются кости!

И точно, на дне валялись остовы разных благородных животных – кошек, собак, между которыми бродил Вереницын, страстный охотник заглядывать во все овраги, как сказано было выше. В другом месте моя незабвенная Феклуша нашла оказию плениться природою.

– Взойдёмте на этот величественный холм, – сказала она, указывая на вал вышиною аршина в полтора, – оттуда должен быть прелестный вид.

Вскарабкались – и нашим взорам представился забор, служивший оградой кирпичному заводу.

– Везде, везде люди! – с досадой сказала Зинаида Михайловна.

Но тут суждено было случиться маленькому несчастью: Володя сделал прыжок и очутился во рву: Марья Александровна в испуге нагнулась и подверглась той же участи; Зинаида, со страху и в предупреждение беды, обмакнула ножку в канаву по самое колено, что с нею случилось почти в каждой прогулке. Я, Вереницын и племянник Зуровых поспешили на помощь и вытащили их в прежалком положении: у Володи текла из носу кровь, Марья Александровна перепачкалась в грязи, Зинаида Михайловна должна была сесть на берегу ручья и переменить чулки, которые каким-то чудом очутились в запасе. То-то предусмотрительность! ну прихо-

дило ли вам, господа, в голову запастись когда-нибудь в подобном случае лишними... Да что и говорить! женское дело!

Ходьба утомила нас до крайности; я помышлял об отдохновении и пище.

– Пора бы обедать, – сказал я, – три часа.

– Нет, мы прежде напьемся чаю, – отвечала Зурова, – а обедать пойдём назад.

У меня зачесался лоб и затылок, когда я вспомнил, что мы отошли от села вёрст восемь. Человек нёс маленький самовар, чай и сахар. Я обрадовался и этому. Теперь надо было подумать, куда приютиться, и вдруг – о счастье! – в полуверсте от нас, на маленькой речке, виднелась мельница. Нечего и думать: туда!

– Нам сама судьба благоприятствует! – сказала Марья Александровна. – С каким наслаждением я буду пить чай, прислушиваясь к шуму воды! Воображение перенесёт меня к водопаду Рейна, на берега Ниагары; ах! если бы побывать там, подышать тамошним воздухом!

– Со временем, – сказал тихонько Вереницын.

Я с удивлением посмотрел на него, но он замолчал и быстро отвернулся в сторону. Убитые усталостью, мы наконец доползли до мельницы. Чухонец, весь в муке, живая вывеска своего художества, встретил нас у дверей с колпаком в руке.

– Пусти, пожалуйста, отдохнуть и напиться чаю: мы тебе заплатим.

– А хорошо, – сказал он лениво.

Мы вошли и разместились по лавкам, на которых была в изобилии посеяна мука. Напрасно старались мы завести разговор: усталость, а пуще шум мельничных колёс налагали досадное молчание на наши уста.

Человек принёс самовар, а мы спросили у чухонца чашек. Он пошёл и через минуту воротился с огромной деревянной чашей. Мы старались объяснить ему, что нам нужно, и догадливый финн ударил себя по лбу и принёс несколько узеньких, продолговатых стаканчиков, какими наши мужички пьют заздравные тосты. Всё это начинало смешить меня, а прочих сердить. Дамы боялись дотронуться руками до этих фиалов зеленоватого стекла, но делать нечего: чашек не взяли, и необходимость, то есть нестерпимая жажда, принуждала касаться не только руками, даже... и вспомнить-то нехорошо! – губками. Подумаешь, до каких странностей принуждает иногда необходимость! Но тут судьба, кажется, сжалилась и не решилась оскорбить нежные дамские уста противузаконным прикосновением: Марья Александровна спросила чай; Андрей подал китайский ларчик; открыли и – ахнули от изумления, ужаса и досады! вообразите: на самом чаю лежала вверх дном открытая жестяная табакерка; несчастный Андрей ошибкою положил её туда и смешал чай с табаком! – Секунду длилось молчание; потом вдруг Марья Александровна и Зинаида Михайловна, которым очень хотелось чаю, зарыдали; Феклуша попыталась было отделить нечистое зелье, но мелкий зеленчак проник до глубины ларчика и вместе наших сердец. Только одного Андрея не сразила собственная его неловкость; когда мы напали на него с упрёками, он с большим неудовольствием проговорил:

– Что мудрёного! велика важность – ваш чай! Я сам в убытке – весь табак потратил. Со мной и не то бывало: один раз, дорогой с генералом, я ошибкою положил сальную свечу в карман парадного мундира; она в тепле растаяла и расплылась по всему мундиру. То важнее, да и тогда мне горя мало!

– Нет ли у тебя, по крайней мере, чего-нибудь поесть? – спросил Вереницын у чухонца. И простодушный сын природы принёс пучок луку, в знакомой чаше квасу и с поклоном поставил на стол. Дамы отскочили прочь.

– Больше ничего нет?

– Мука есть, – сказал он торжественно.

С невыразимой усталостью во всём теле пустились мы в обратный путь; в горле и груди жгло будто огнём; сверх всего этого, должно было попеременно вести дам. Сколько бы упрёков

имел я право высказать тогда! Но великодушие не было мне чуждо, и я затаил желчь на дне души.

Едва ли крестоносцы с бóльшим восторгом завидели святой град, как мы своё пристанище; но радость наша нарушилась особенным приключением: приближаясь к селу, мы услышали крик знакомых голосов: «Помогите! помогите!» Ускоряем шаги и видим, что бабушка и Тяжеленко, сидя на траве, с отчаянием отмахиваются от трёх охотничьих собак, которые, прыгая и играя, успели уже стащить со старухи головной убор, а с Тяжеленки картуз и продолжали с визгом бегать и резвиться около них. В одно время с нами из перелеска показались охотники и отогнали собак.

Когда восстановился порядок, Никон Устинович бросил на меня взор немого упрёка; на лице его боролись два чувства: праведного негодования и раздражённого аппетита.

– В пять часов обедать! – воскликнул он, – слыханное ли дело!

– Как мы славно погуляли, monsieur Tiagelenko! – сказала Зинаида Михайловна, – как жаль, что вас не было!

– Вам, конечно, тошно видеть меня на свете, – отвечал он с горькою улыбкою, – вы хотели бы, чтобы я от ходьбы пал на месте бездыханен; мало того, что я не ел до сих пор!

– Прямой кубарь! – прошептала насмешница.

Профессор торопил идти в село. Наконец, со всеми признаками страшной усталости, мы достигли привала.

– Кушать, кушать поскорее! – раздавалось со всех сторон.

Все заражённые устремились было обедать на луг, но Тяжеленко загородил им дорогу.

– Вы пойдёте на луг не иначе как по моему телу! – сказал он, что было физически трудно, а потому накрыли на стол в избе.

Марья Александровна велела поставить горчицу, уксус и другие приправы.

– Кто, господа, запасся холодным? – спросила она, – велите подавать. – Молчание. – Отчего же никто не говорит?

– Да, вероятно, оттого, что ни у кого нет, – сказал я.

– Ну так начнём пастетом. Андрей, подай!

– Да пастета нет, сударыня: дети дорогой весь изволили скушать.

Я не спускал глаз с Тяжеленки: лицо его покрылось гробовою бледностью; он бросил на меня яростный взор.

– У вас, Никон Устиныч, кажется, была ветчина? чего же лучше? – сказал Вереницын. – Велите подать.

– Её собаки съели, которых вы отогнали от нас, – проговорил с замешательством Тяжеленко.

– Как, батюшка! – проворчала старуха, – мне ещё задолго до собак слышалось, что ты как будто всё жевал что-то.

– Нет... это так... ваш изюм ел.

– Ну, нечего толковать много. Подавайте бульон!

– Бульону не брали, сударыня.

– Стало быть, нам приходится обедать *a la fourchette* ⁴, – сказал профессор, – горькая доля, господа! Перейдёмте к жаркому. У кого есть жаркое и какое?

– У меня никакого. – И у меня. – И у меня, – проговорили один за другим девять голосов, принадлежавшие девяти членам пикника.

Остальных трёх лиц, то есть Алексея Петровича с детьми, в наличности не оказалось: никто не знал, куда они скрылись, и я уже помышлял об обязанности, которую наложил на себя касательно безопасности больных; но беспокойное, острое, пронзительное ощущение голода

⁴ Холодными блюдами (фр.).

заглушило всякое другое постороннее чувство; особенно филантропические помышления. Как скоро увидели, что жаркое на переключку не являлось, все поникли головами на груди, а Никон Устинович с глухим стоном заключил свой живот в объятия, как иногда два друга, поражённые одним и тем же бедствием, находят в горячих объятиях взаимное утешение, – и живот его, как будто по сочувствию, отозвался жалобным ворчанием.

– Что же у кого есть? говорите, господа! – провозгласила дрожащим голосом Марья Александровна. – Начните, профессор.

– У меня венский пирог и малага, – отвечал он.

Второй голос:

– У меня конфеты и малага.

Третий:

– У меня две дыни, два десятка персиков и – малага.

Четвёртый:

– У меня *crème au chocolat*⁵ и – малага.

Пятый:

– У меня сироп к чаю, миндальное и – малага.

Бабушка:

– У меня изюм.

И подобного рода яства, каждое в сопровождении малаги, шли до восьми голосов.

– Вот тебе раз! – сказал печально профессор, – ни бутылочки сотерну, ни капельки мадеры! Да разве был уговор всем привезти малаги?

– Нет, это простой случай.

– Как простой! самый необыкновенный и досадный!

Наконец девятый голос робко произнёс:

– У меня пармезан и лафит.

Все взоры быстро обратились в ту сторону, откуда происходил голос: то был мелодический, небесный голос моей милой, несравненной Феклуши. О! как она величаво прелестна казалась в эту минуту! Я торжествовал, видя, как жадная, неліцемерно жадная толпа готова была вознести на пьедестал богиню моей души и преклонить пред нею колена. Кровь забушевала во мне, как морская волна, воздымаемая ветром до небес; сердце застучало, как проворный маятник; я гордо окинул взорами общество и забыл на пять минут о голоде, что при тогдашних обстоятельствах было весьма важно. Как ни говорите, а минута торжества любимого предмета есть божественная минута! Профессор с чувством поцеловал ей руку; Марья Александровна обняла торжествующую племянницу три раза с непритворною нежностью; все прочие, облизываясь, осыпали её самыми лестными комплиментами; а Тяжеленко патетически изрёк следующие достопамятные слова:

– В первый раз постигаю достоинство женщины и вижу, до чего она может возвыситься!

Но скоро радость превратилась чуть не в плач и рыдание: сыру было только два с половиною фунта, и девять жадно отверзшихся ртов печально сомкнулись, а в некоторых из них послышался скрежет зубов. Никон Устинович с презрением оттолкнул предложенный ему ломоть и впал в летаргическую бесчувственность. В самом деле, каково потерять надежду, которую почти держали в зубах! Все хранили грустное молчание и угрюмо поедали сласти, запивая малагою. К концу этого необыкновенного обеда подоспел измученный Алексей Петрович, без шапки и без перчаток, как у него всегда водилось, с двумя детьми и тремя ершами.

– Есть! есть! ради Христа и всех святых, есть! – Но ему оставалась одна малага – приторная насмешка случая над обманутым аппетитом, доведённым до крайних пределов, за которыми начинаются муки исполинской казни голода.

⁵ Шоколадный крем (фр.).

Обед заключился крынкой молока. Однако малага произвела обычное действие: все развеселились, а Зинаида Михайловна пришла в необыкновенный восторг; она, встав из-за стола, начала пощёлкивать нежными пальчиками, притопывать ножкою и весело напевать вариации на тему: «А я, молодёшенька, во пиру была».

– Помилуй! ты на ногах не стоишь, моя милая! – сказал ей дядя.

– Да и не вижу в том большой надобности! – отвечала она так мило, с такой очаровательной улыбкой, с таким упоением в глазах, с каким бы я тогда готов был... поцеловать у ней ручку, да не посмел!

Зуровы предложили было после обеда прогулку; но я, полагая, что пришла минута действовать, приступил с усиленным красноречием к святому делу.

– Ни с места! – сказал я, – выслушайте меня! – Тут я, не хвастаясь скажу, искусно развернул перед ними картину бедственной страсти со всеми её ужасными последствиями. Они внимательно слушали и по временам переглядывались. Я с жаром продолжал убеждать их силою слова, как некогда Пётр Пустынник, только с тою разницею, что тот уговаривал, а я отговаривал; наконец, довёл до катастрофы.

– Вы одержимы ужасным, доселе неслыханным недугом, которому нет примера, нет названия ни в веках минувших, ни в настоящее время, ни в странах отдалённых, ни пред очами нашими. – Тут в речи у меня прекрасно были помещены противное, свидетельства и примеры. – Вы погублены, ослеплены, увлечены в пропасть, и виновник вашей гибели ещё здесь, ещё жив, ещё разделяет вашу трапезу!! Вот он! – сказал я, указывая на Вереницына.

Каков оборот, почтенные читатели! Припомните одно подобное место в которой-то речи Цицерона против Катилины.

– Вот он! – повторил я с большею силою. Гляжу, и... что же? все спят мёртвым сном. Я чуть не лишился чувств. – В город! – воскликнул я громовым голосом, так что все вскочили в одно время.

– За город! – завопил спросонья Алексей Петрович.

Я повелительным жестом привёл всех в движение. Кучера в минуту запрягли экипажи.

– Как же мы славно погуляли! – сказали оба вдруг, Зуров и Вереницын, влезая в шарабан.

– Какие места! – прибавили Марья Александровна и Зинаида Михайловна, – и как мы здесь повеселились! Когда-нибудь в другой раз приедем.

В десять часов мы поехали из селения, а к трём только что добрались до Петербурга. На этот раз все попытки Зуровых останавливаться на дороге, «походить по ночной росе», как просились Марья Александровна и Зинаида Михайловна, были безуспешны: мы с Тяжеленкой решительно воспротивились и действовали сообразно принятому намерению.

Подъехав к Воскресенскому мосту, передовой экипаж остановился. Я, вообразив, что причиною остановки было какое-нибудь загородное желание Зуровых, хотел уже напомнить им, что мы в городе, как вдруг увидел или, точнее, не увидел моста.

– Где же он? – спросил я у будочника.

– Разве не видите, барин, что развели! – отвечал он.

– А когда наведут?

– Часов в шесть.

– Поздравляю вас, mesdames: нам нельзя попасть домой: мост разведён!

Вдруг все мои больные встреपнулись.

– Так можно ехать опять за город! – закричали они. – Что теперь дома делать! Эй, Парамон! ворочай назад!

К счастью, зараза не приставала к кучеру, между тем как голод и сон давно одолевали его. Он с жалостной миной взглянул на меня.

– Стой на одном месте! – сказал я. – Он обрадовался и проворно соскочил с козел.

Вдруг стал накрапывать дождь; надо было искать приюта. У Марьи Александровны от холода показались слёзы; Зинаида Михайловна и милая Фёкла едва переводили дыхание и жалостно просили есть и пить, а есть и пить было нечего. Профессор и Алексей Петрович, сидя в шарабане, дремали, беспрестанно кланяясь друг другу в пояс; а из Тяжеленки исходили по временам глухие стоны. Между тем Марья Александровна, разглядывая от скуки окружающие нас дома, вдруг остановила лорнет на одной вывеске, и радость заблестала в её глазах.

– Ах, какая приятная нечаянность! – сказала она, – здесь есть кондитерская! Посмотрите! мы можем там подкрепить себя пищею и отдохнуть.

– Да, тут пирожного и малаги вдоволь, – отвечал я, взглянув на вывеску, которой обрадовалась Зурова, и прочёл: – «Здесь приготавливают кушанье и чай».

– Это не кондитерская, – с радостным трепетом произнесла Зинаида Михайловна, – тут есть кушанье и чай.

– А может быть, и шоколад! – примолвила Марья Александровна.

– Прекрасно! – воскликнули все.

Мужчины обрадовались потому, что надеялись найти закусь, а дамы не знали, что заведение под этой заманчивой вывеской была харчевня, об которой они не имели никакого понятия. – Дождь принялся изливаться обильными струями, и мы поспешили под благотельный кров. Было ещё очень рано; в харчевне все спали, а потому нам стоило большого труда разбудить хозяев. Наконец дородный плешивый мужичок в красной рубашке отпер двери и остановился от изумления, встретив посетителей необыкновенного калибра. Он долго был в нерешимости, пускать ли, но, узнав от нас причину неожиданного посещения, с шумом и низкими поклонами растворил обе половинки.

Не берусь описывать внутренность подобного заведения, потому что для этого недостаточно одного беглого взгляда, а до тех [пор] я никогда не проникал туда, хотя, с того времени как дамы (и какие дамы: Марья Александровна, Зинаида Михайловна!) стали посещать подобные заведения, мне и подавно не стыдно бы было признаться в этом. Но, к сожалению, я не лгу. Впрочем, всякий, кто любит бродить по петербургским улицам, более или менее имеет понятие о харчевнях, потому что они располагаются большею частию в нижних этажах, даже подвалах, и не представляют никакой преграды любопытному взору. Кому мимоходом не бросались в глаза занавески на окошках из розового или голубого колленкора? Если вы взглядывали с улицы прямо в дверь, то верно видели в глубине комнаты огромный стол, уставленный штофиками, карафинчиками, тарелками с разной закуской, и за этим столом бородатого Ганимеда; если в воскресный день смотрели в окно, то верно замечали пирующих друзей, лица которых пылали, как освещённые переносным газом; а хохот, песни и орган уведомляли вас, что вы недалеко от храма утех. «Кто же обычные посетители?» – спросите вы. Недогадливый читатель! неужели не случилось вам, по выходе из театра или из того места, где вы оставляли сердце до следующего вечера, неужели – говорю – не случилось подходить к бирже и заставать только одних лошадей с пустыми санями? И когда вы вскрикивали: «Извозчик!» – то, помните ли, вдруг трое или четверо выскочат неведомо откуда. Итак, если случилось, что они выскакивали перед вами, то это из харчевни. Или – отчего хозяин мелочной лавочки, против которой вы живёте, часто отлучается, оставляя торговлю в руках мальчика? Оттого что по соседству есть харчевня. А отставной офицер с просительным письмом, которого никогда никто не читает, получив от вас пособие, куда идёт? Туда же. По недостатку наблюдений и опытности в этом случае, я не мог собрать довольно фактов и изложить их обстоятельнее; впрочем, не должно отчаиваться: слухи носят, что два плодовитые писателя, один московский, а другой санкт-петербургский, О-в и Б-н, обладающие всеми нужными сведениями по этому предмету, который они исследовали практически, давно готовят большое сочинение.

К сожалению, в ранний час, в который мы попали в харчевню, не было публики, а потому мы и не могли ознакомиться ни с обычаями этого заведения, ни с образом мыслей и склонно-

стями посетителей. Особенно я сокрушаюсь за дам: горизонт их наблюдений и без того так тесен; а они тут лишились, может быть, единственного случая запастись надолго свежими и разнообразными впечатлениями.

– Пожалуйте-с! пожалуйте-с! сюда, в гостиную! – говорил хозяин, вводя нас в грязную низенькую комнату, увешанную портретами, которые имели странное достоинство – представлять одно и то же лицо под видом разных особ.

– Боже мой! куда мы попали? – воскликнули дамы и попятились назад, но назад замыкала выход фаланга голодных мужчин под предводительством Тяжеленки, а потому, волею или неволею, дамы вошли.

– Чего прикажете-с? Что угодно-с? – продолжал услужливый мужичок. – У нас всё есть. Не извольте думать об нашем заведении, что оно, примерно молвить, какое-нибудь мужицкое. Извозчиков вовсе мало; гости все хорошие; вот, примерно, бывает камердинер из генеральского дома, такой степенный кавалер, с часами! а теперь и вас бог принёс. Милости просим вперёд! Мы таким гостям ради-с.

Алексей Петрович прервал его:

– Нам есть и пить хочется.

– Всё можно-с.

– Нельзя ли сварить шоколаду? – спросила Марья Александровна.

– Нет-с; щикаладу не держим.

– Ну, кофе?

– Кофий отличнейший; только сливочек негде взять: раненько изволили пожаловать; с Охты молочница не бывала.

– Что же есть?

– Водка чудеснейшая, всех сортов. Пирожок можно испечь, наивкуснейший, с подливочкой аль с вареньем. Печёнка свежая, студень, баранина – всё есть-с!

Как он ни хвастался обилием, но никто из нас не решился дотронуться до предлагаемого: только Тяжеленко обласкал окорок чёрствой ветчины, а прочие напились чаю.

Пробыв часа полтора, мы наконец вырвались из области неудобств, беспокойств и подобных приключений, переехав благополучно мост, который между тем навели. Я вздохнул свободнее.

«Теперь не скоро поедут опять, – думал я, – эта поездка и моя речь, вероятно, сильно подействовали на них».

В том месте, где нам с Тяжеленкой следовало отстать от Зуровых и ехать домой, Алексей Петрович велел кучеру остановиться и вылез из шарабана.

– Я и жена имеем до вас покорнейшую просьбу, – сказал он.

– К вашим услугам. Что прикажете?

– Вот извольте видеть: хотя мы и славно погуляли, и весело было, и прекрасное место, но чтоб сколько-нибудь дать вам понятие о том, что значит настоящая загородная прогулка, мы с женой убедительно просим вас поехать с нами в пятницу в Ропшу – единственное место! а в субботу, воскресенье и понедельник – в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Всё это придумали мы для того, чтобы как можно более придать разнообразия прогулкам. До сих пор вы путешествовали с нами по суше: надо познакомиться и с морем.

– Боже мой! они неизлечимы! – горестно воскликнул я. – Извините, Алексей Петрович, мне нельзя исполнить вашего желания: в среду я еду в деревню, а завтра приеду с вами прощаться.

– Возможно ли! какое горе! – воскликнула Марья Александровна. – А знаете ли что: не провести ли нам завтра, последний день, вместе за городом?

Я бросился в коляску и поскакал домой не оглядываясь.

Я не лгал: обстоятельства принудили меня надолго оставить Петербург, и потому я действительно распрощался с Зуровыми на другой день. Но мысль, что они останутся без призора и погибнут, заставила меня прибегнуть к решительной мере: за несколько часов перед отъездом я открыл всё одному умному, опытному и сострадательному врачу, просил его познакомиться с ними, и ежели найдёт средство, то уничтожить или по крайней мере притупить силу «лихой болести», а между тем время от времени уведомлять меня об успехах. Предоставив таким образом больных его попечениям, я веселее выехал из города и благополучно прибыл в деревню.

Прошло два года, и я ещё не получил ни одной строки от доктора. Но к концу этого срока, однажды вечером, мне принесли вместе с кучею газет и журналов и письмо за чёрной печатью. Я поспешно вскрыл и... Здесь опять глаза мои наполняются слезами, а голова, несмотря на все мои старания держать её прямо, валится на сторону. Не берусь описывать, что случилось, потому что не соберу мыслей, не найду слов; а лучше выпишу из рокового письма целиком те строки, в которых заключается горестная весть как о Зуровых, так и о Тяжеленке: с последним доктор был большой приятель. Сначала о Тяжеленке...

«Это случилось с ним, – пишет доктор, – с пятнадцатого на шестнадцатое марта, ночью. Волобоенко в страхе прибежал ко мне с известием, что его барину „пришло дурно“; глаза подкатились под лоб, а сам весь посинел. Я бросился к нему и действительно нашёл Никона Устиновича в отчаянном положении; он не мог произнести ни слова, а только глухо стонал; после четырёх кровопусканий я успел привести его в чувства, но...» Несколько пониже: «Другой апоплексический удар, последовавший вскоре за первым, лишил его жизни». На другой странице о Зуровых: «Полагая, что письмо их ко мне была одна шутка, я, после двухнедельной отлучки за город, отправился к ним, но, к величайшему изумлению, нашёл все двери в доме на замке. На дворе встретился мне старый слуга, Андрей, и на вопрос, где господа, отвечал, что уехали в „Чухонию“, чем подтвердилось то, что они сами писали ко мне. Желая подробнее узнать об этом, я отправился к их родственнику, известному вам господину Мебонелдринову. Он повторил то же самое и прибавил, что намерение их побывать в Финляндии и потом ехать в Швейцарию было обдумано давно, но они искусно умели скрыть его от всех, даже от меня, и что целью их было пробраться в Америку, где, по словам их, природа занимательнее, в воздухе гораздо больше запаха, горы выше, пыли меньше и пр.».

Вскоре я сам отправился в Петербург и от того же родственника узнал, что они точно уехали в Америку, со всем движимым имуществом, и там поселились. Долгое время спустя я случайно свёл знакомство с одним английским путешественником, который жил в Америке. Он уведомил меня, что знал это семейство, а также и страсть их к прогулкам, которая напоследок кончилась самым печальным образом. «Однажды, – так заключил англичанин рассказ свой, – они, с большим запасом платья, белья и съестных припасов, пустились в горы и оттуда более не возвращались».

Счастливая ошибка

*Господи Боже Ты мой! и так много всякой дряни на свете, а Ты
ещё жинок наплодил!*

Гоголь

Шёл в комнату – попал в другую.

Грибоедов

Однажды зимой в сумерки... Да! позвольте прежде спросить, любите ли вы сумерки? Я «слышу молчание», а молчание есть знак согласия: стало быть, любите. Да и как не любить сумерек? кто их не любит? Разве только заблудившийся путник с ужасом замечает наступление их; расчётливый купец, неудачно или удачно торговавший целый день, с ворчаньем запирает лавку; ещё – живописец, не успевший передать полотну заветную мечту, с досадой бросает кисть, да поэт, житель чердака, грозит в сумерки проклятиями Аполлона лавочнику, который не отпускает в долг свечей. Все прочие любят это время; не говорю уже о простом народе, мастеровых, рабочих, которые, снедая в поте лица хлеб свой, покладывают руки от тяжкого труда, наконец, магазинщицах, которые, зевая за иглой при Божьем свете, с детской радостью надевают шляпки и спешат предаться увеселениям. Но то существенная, прозаическая радость, а в сумерках таятся высшие, поэтические наслаждения.

Благословен и тьмы приход! —

сказал Пушкин. Не есть ли это время нежной, мечтательной грусти, – не той грубой, неприятной грусти, которая изливается днём, при всех, горячими слезами, причины которой так тривиальны – крайняя бедность, потеря родственников и проч.; грусти, например, от невнимания любимой особы, от невозможности быть там, где она, от препятствий видиться с нею, от ревности? Не есть ли это, краснея скажу, время сладостного шёпота, робкого признания, пожимания рук и... мало ли ещё чего? А сколько радостных надежд и трепетных ожиданий таится под покровом сумерек! сколько приготовлений совершается к наступающему вечеру! О, как я люблю сумерки, особенно когда переносюсь мысленно в прошедшее! Где ты, золотое время? воротись ли опять? скоро ли?..

Посмотрите зимой в сумерки на улицу: свет борется со тьмою; иногда крупный снег вступает в посредничество, угождая свету своею белизною и увеличивая мрак своим облаком. Но человек остаётся праздным свидетелем этой борьбы: он приумолкает, приостанавливается; нет движения; улица пуста; дома, как великаны, притаились во тьме; нигде ни огонька; все предметы смешались в каком-то неопределённом цвете; ничто не нарушает безмолвия, ни одна карета не простучит по мостовой: только сани, как будто украдкою, продолжают снова вечную основу по Невскому проспекту. Одним словом, кажется, настала минута осторожности... а в самом деле эта минута есть, может быть, самая неосторожная в целом дне: зимой в сумерки совершается важный, а для некоторых наиважнейший, процесс нашей жизни – обед; у первых он состоит в наполнении, у вторых в переполнении желудков и нагревании черепов искусственными парами, – сообразите следствия от этих двух последних обстоятельств.

Теперь войдёмте в любой дом. Вот общество, собравшееся в гостиной: всё тихо, безмолвно; никто не шевелится; разговор медленно вяжется слово за слово, поминутно перерываясь и не останавливаясь на одном предмете. Вглядитесь в физиономии: это самая лучшая, самая удобная минута для изучения настоящего характера и образа мыслей людей. Посмотрите, как в сумерки свободно глаза высказывают то, что задумала голова, как непринуждённо

гуляют взоры: они то зажигаются страстью, то замирают презрением, то оживляются насмешкой. Тут подчинённый смело меряет глазами начальника с ног до головы; влюблённый смело пожирает взорами красоту возлюбленной и дерзает на признание; взяточник хотя шёпотом, однако без ужимок объявляет, какую благодарность и в каком количестве чаял бы он получить за дельце, – сколько доверенностей рождается в потёмках! сколько неосторожных слов излетает!.. Но вот несут свечи: вдруг всё оживилось; мужчины выпрямились, дамы оправились; разговор, медленно катившийся до тех пор, как ручеёк по камешкам, завязывается снова, вступает, подобно могучей реке, в берега, делается шумнее, громче. А какая перемена в людях! подчинённый уж смотрится в лакированные сапоги начальника, влюблённый стоит почти-точно за стулом возлюбленной, взяточник кланяется и приговаривает: «Что вы! что вы! какая благодарность! это мой долг!» – неосторожные раскаиваются в своей доверенности, и взоры перестают страстно глядеть; место презрения заступает сухое почтение или страх. О! будьте только сумеречным наблюдателем... «Но наблюдать, – скажут мне, – в сумерки неудобно, темно». – «Ах, в самом деле! ваша правда». – «Да как же вы упустили это из виду? забыли?» – «Нет-с, не догадался».

Однажды зимой, в сумерки, сопровождаемые всеми вышеизложенными обстоятельствами, то есть падением снега и безмолвием на улицах, – не то из Садовой, не то из Караванной выскочил на Невский проспект, как будто сорвавшись с цепи, лихой серый рысак, запряжённый в маленькие санки, в которых сидел молодой человек. Далеко вперёд закидывало стройные ноги благородное животное, гордо крутило шею, быстро несло по улице; но седок всё был недоволен. «Пошёл!» – кричал он кучеру. Напрасно сей вытягивал руки во всю длину, ослаблял вожжи и привставал с места, понукая рысака. «Пошёл!» – кричал седок. Но ехать скорее было невозможно: и так пешеходы, которые пускались, как вброд, поперёк улицы, при грозном оклике кучера, вздрагивая, пятились назад, а по миновании опасности, плюнув, с досадой приговаривали: «Вот сумасшедший-то! эка сорвиголова! провал бы тебя взял! напугал до смерти!»

С Невского кучер поворотил в Морскую и после минутной езды остановился у двухэтажного дома аристократической наружности, с балконом и большим подъездом. Молодой человек вошёл в сени. Нигде в доме не было ещё огня: сумерки царствовали начиная с сеней. Там швейцар, сидя перед огромной печью, по временам помешивал кочергой жар и напевал вполголоса унылую песенку. В стороне тянулась лестница с позлащёнными перилами.

– Дома господ? – спросил молодой человек.

– Должно быть, что дома-с, – отвечал швейцар. – Вот я позвоню.

– Не нужно! – сказал тот и опрометью, как на приступ, бросился на лестницу.

В передней сумерки были ещё ощутительнее: из углов, где царствовала настоящая, прямая темнота, несло храпенье; лакеи спали, вознаграждая себя вперёд за предстоящие труды и вечернюю суматоху. Молодой человек остановился перед тремя дверьми в нерешимости, в которую идти.

«Отдамся на волю сердца: оно не обманет и поведёт прямо к ней», – подумал он и отворил среднюю дверь. Прошедши залу и диванную, он пропал в коридоре, из которого лесенка в четыре ступеньки вела вверх.

С трепетом в сердце, на цыпочках, подкрался он к библиотеке, и вдруг этот тёплый, сердечный трепет превратился в холодный, лихорадочный озноб, когда он вошёл в комнату. Там на мраморном столике чуть теплилась лампа и освещала лица двух стариков, которые, сидя в вольтеровских креслах друг против друга, сначала, вероятно, беседовали и потом утопили свою беседу в сладкой дремоте.

Не только молодого человека, который ожидал встречи пламенных чёрных глаз, но всякого охватил бы озноб при взгляде на одного из спавших стариков. Вообразите огромную лысину, которая по бокам была вооружена двумя хохолками редких седых, стоячих волос, очень похожими на обгоревший кустарник; вскоре после лысины следовал нос: то был конус

значительной величины, в который упиралась верхняя губа, помещённая у самого его основания, а нижняя, не находя преграды, уходила далеко вперёд, оставляя рот отворенным настежь; по бокам носа и рта бежали две глубокие морщины и терялись в бесчисленных складках под глазами. Сверх того, всё лицо было испещрено самыми затейливыми арабесками. Таков был действительный тайный советник барон Карл Осипович Нейлейн, владетель этого дома. Другого старика не знаю; вероятно, приятель барона; физиономия его была, однако ж, гораздо благопристойнее. Оба они покоились сном праведника, хотя лицо первого пристало бы самому отчаянному грешнику.

«Вот поди, вверяйся сердцу, куда оно заведёт!» – с досадой сказал молодой человек и, повернувшись назад, вошёл в маленькую диванную. Там, свесив одну ногу, а другую поджав под себя, сидела на богатом оттомане и также дремала, запрокинув голову, супруга барона. Подле неё лежала моська, которая, при появлении молодого человека, заворчала. Он, чтоб не возбудить тревоги, поспешно отправился назад.

«Что за встречи! Где же Елена? – подумал он и остановился в нерешимости куда идти. – Здесь все сидят попарно. Поспешу сыскать её для симметрии: нас будет также пара». – В эту самую минуту в соседней комнате раздался звучный аккорд на фортепиано, и молодой человек бросился как будто на призыв.

Пора, однако, сказать, кто таков был он, зачем пожаловал в такую пору в чужой дом, почему так своевольно расхаживает и чего отыскивает. Звали его Егор Петрович; он происходил из знаменитого рода Адуевых и был отдалённейший родственник барона Нейлейн; приехал в дом к нему по двум причинам – одной обыкновенной, другой необыкновенной: первая – родство, как выше сказано, а вторая – любовь к прелестной восемнадцатилетней дочери барона Елене, милой, стройной, пламенной брюнетке, которую он и отыскивал в потёмках.

Он уже намекал её родителям о своём намерении жениться на ней, а они намекнули ему, что они рады такому союзу, потому что Адуев – разумеется, они этого не сказали ему – имел три тысячи душ и другие весьма удовлетворительные качества жениха и мужа и вдобавок привлекательную наружность – обстоятельство, заметим мимоходом, весьма важное для Елены. Из этих обоюдных намёков возникло дело довольно ясное, приведённое в большую ясность молодыми людьми.

При всём том Егор Петрович иногда жаловался, что он совсем не так счастлив в любви, как бы ему того хотелось. Сам он любил пламенно, со всею силою мечтательного сердца; даже думал, что любовь его к Елене есть окончательный расчёт его с молодостью, что сердце, истомлённое мелочными связями без любви, ожесточённое изменами, собрало наконец, после неудачных поисков предмета по себе, последние силы, сосредоточило всю энергию и ринулось на отчаянную борьбу, из которой, как казалось ему, оно выйдет после неудачи разбитое, уничиженное и неспособное более к электрическому трепету сладостного чувства. Что же бы оставалось ему в жизни после этой невозвратимой утраты? Любя Елену и будучи любим ею, он смотрел, при этих условиях, на жизнь как на цветущий сад, на любовь к Елене как на последнюю купу роскошных деревьев и гряду блестящих цветов, растущих у самой ограды: без этого жизнь представлялась ему пустым, необработанным полем, без зелени, без цветов...

Адуев жаловался не напрасно: на любовь его Елена отвечала едва приметным вниманием, мучила своенравием и капризами, которые не испортили бы характера какого-нибудь азиатского деспота; сверх того... но об этом будет говорено ниже, особо. Впрочем, она позволила себе такие поступки тогда, когда уже измерила степень, до которой достигла любовь Адуева к ней, когда уверилась, что обратный путь был для него невозможен и что он находится между двумя крайностями – страданием и блаженством. Не злодеяние ли это? на вас пошлюсь, mesdames.

После всего этого чего бы, кажется, искать ему? Зачем унижать себя страстью, которой не поймут и не разделят? Зачем! какие вы смешные! Спросите у влюблённых. Ослепление:

вот всё, что можно сказать в оправдание им! Одни только они могут утешаться там, где при другом расположении духа следовало бы прийти в отчаяние; зато бывает и наоборот. Егору Петровичу, например, иногда казалось – а может быть, и в самом деле так было, – что когда взор Елены покоился на нём, то сверкал искрой чудного пламени, потом подёргивался нежною томностью, а щёки разгорались румянцем; или порой, склонив прелестную головку к плечу, она с меланхолическою улыбкою внимала бурным излияниям кипучей страсти, выражавшейся языком, который сначала своею дикостью и необузданностью не согласовался с её хотя прихотливым, избалованным, однако всё-таки чистым, скромным, девическим характером. Впоследствии же, когда она разгадала степень его привязанности, то увидела, что и этим восторженным языком он не в состоянии передать и половины того чувства, которое бушевало в нём. Егор Петрович утешался, видя это, но, к несчастью, он видел и то, что она так же прилежно внимала таинственному шёпоту камер-юнкера князя Каратыжкина, так же неподвижно оставляла взор на пёстром мундире ротмистра Збруева: разница была только та, что они не давали ей задуматься ни на минуту, а иногда все три голоса их сливались в дружный хохот. Он не мог выносить этого адского трио и бежал прочь, с горечью в душе.

Всё это доводило иногда Адуева до раздражительности.

«Зачем она так нежно смотрит на меня? – думал он, – зачем, ну зачем ей так смотреть?» – а потом мысленно сам же отвечал: «Зачем! смешной вопрос! затем, что любит; ну да, конечно любит! Она сама говорила это». Вслед за этим ему слышались другие вопросы: «А зачем она пристально посматривает на князя Каратыжкина и Збруева? зачем всё им улыбается и никогда на них не сердится, как, например, на него? и что она шепчет им?» На последние вопросы Егор Петрович не находил ответа и сердился.

В самом деле, каким именем назвать это поведение Елены? Адуев, в припадке бешенства, называл – заметьте, пожалуйста, *mesdames*, Адуев, а не я – называл... позвольте, как бишь?... Эх, девичья память! из ума вон... Такое мудрёное, нерусское слово... ко... ко... так и вертится на языке... да, да! – кокетством! кокетством! Насилу вспомнил. Кажется, так, *mesdames*, эта добродетель вашего милого пола – окружать себя толпою праздных молодых людей и – из жалости к их бездействию – задавать им различные занятия. Это, как называл их опять тот же Адуев (он иногда страдал желчью), род подписчиков на внимание избранной женщины: подписавшиеся платят трудом, беготнёй, суматохой и получают взамен робкие, чувствительные, пламенные, страстные взоры, хотя, конечно, искусственные, но несколько не уступающие своею добротою природным. Иным достаются даже милые щелчки по носу веером, позволение поцеловать ручку, танцевать два раза в вечер, приехать не в приёмный час; но чтобы заслужить это, надобно особенное усердие и постоянство.

Бежать от Елены, скрыться от своей любви, заплатить за охлаждение презрением – Егор Петрович был, как сказано выше, не в состоянии. Сверх того, в нём ещё тлелась искра надежды на счастье: он изучал её характер в ожидании, что наконец ей надоест суётность, наскучат со временем бесплодные торжества самолюбия; что чувство истинной любви возьмёт верх и по-прежнему, а может быть и сильнее, заговорит в его пользу; оттого единственно он и откладывал требование её руки.

Со страхом испытать какой-нибудь новый каприз и с надеждою застать Елену одну – вступил он в комнату, где раздались звуки фортепиано; но, увы! и там была пара. Подле Елены сидела рыжая англичанка и вязала шарф двумя костяными спицами непомерной длины. Вскоре, однако ж, дуэнью вызвали по хозяйству, и она более не возвращалась. Какое счастье! Он наедине с нею.

Елена Карловна была мила и любезна, Егор Петрович любезен и мил: мудрено ли, что судьба свела их в маленькой зале? кому же после того и сходитьсь, как не им? ужели старому барону с женою?.. фи! как это можно! они сами чувствовали всё неприличие, всю гнусность такого поведения и оставались каждый на своей половине, а если сходились, то только за обе-

дом, да при гостях, и то в приличном друг от друга расстоянии, как следует благоразумным и степенным супругам.

Елена мельком взглянула на Адуева, едва отвечала на грациозный поклон и начала сильнее и чаще прежнего брать аккорды, показывая вид, что вполне предалась музыке. Он молча, с восторгом, смотрел на неё.

– Отчего вы не пошли к папеньке, а прямо явились ко мне? – спросила она сухо.

– Hélène! – отвечал Егор Петрович голосом, в котором выражался нежный упрёк.

– Mademoiselle Hélène или Елена Карловна, если вам угодно! Вы становитесь слишком фамильярны: скоро станете звать меня Алёнушкой.

– Нё... лè... не! – с трепетом в сердце и голосе проговорил молодой человек.

– Егор Петрович, – спокойно отвечала она, смягчённая избытком нежности, невольно изменявшей голосу и взорам Адуева.

– Итак? – тоскливо произнёс он после долгого молчания.

– Итак! – насмешливо повторила она, живо перебирая клавиши.

– Вы шутите, Елена Карловна.

– Совсем нет! Я стараюсь поддаться под расположение вашего духа и под ваш тон, чтоб угодить вам. Кажется, нельзя требовать большего внимания.

– Если б я не был уверен, что это шутка, то...

– То?..

– Удалился бы давно.

– Ах, это новое! – с колкостью заметила Елена, – я ещё не испытала. Чем же, однако, вы недовольны? Я всегда рада свиданию с вами: вы, я думаю, по моим глазам видите это. К вам я внимательнее, нежели к другим; с другими я стараюсь, для приличия, быть только любезной.

– Только из приличия!.. Стараться быть любезной – нельзя, баронесса: это дар неприобретаемый. Кто любезен, тот – поверьте! – не старается; притом же есть границы истинной любезности, а ваше обращение с князем Каратыжским и Збруевым...

– А!.. вот что! так вам не нравится моё обращение с ними? да отчего же? Напротив, вы, кажется, должны радоваться их вниманию ко мне: это живой аттестат моим достоинствам, справедливая дань, как говорят они...

– Слушайте их!

– Что ж? разве не правда? Вы, я думаю, одного мнения с ними: по крайней мере любовь ваша доказывает это.

Адуев закусил губу.

– Но ваша холодность, странное обращение со мной – становятся несносны! – сказал он.

– Не сносите.

– Скажите мне с прежнюю искренностью, которой я не вижу в вас более, любите ли вы меня?

– Как это скучно! одно и то же! Ответ вы давно знаете.

– Но с тех пор многое могло перемениться, и переменилось! – Он вздохнул.

И она вздохнула.

– Баронесса, меня никто никогда не считал ни глупцом, ни ребёнком. Ваша насмешка – первая в моей жизни. Ещё пять минут подобного разговора – и я...

– И вы?

– Оставляю вас сию минуту и навсегда!

– Как грозно!

Адуев не мог сносить долее насмешливого тона Елены: он вспыхнул.

– Да! удалюсь, постараюсь забыть эту суетную женщину, пред которой я так долго бесплодно пресмыкался! – с гневом и скороговоркою начал говорить Егор Петрович. – Боже! та ли это, пред которой я благоговел, в чистоту чувств которой так слепо веровал, не считал

себя достойным счастья обладать ею?.. И вот она! едва успела сказать «люблю» в первый раз в жизни и уже забывает святость своих обещаний, данное обязательство, собирает дань лести ничтожных волокит!..

– Каких обязательств? разве я ваша невеста?

– Но могу ли требовать вашей руки при этом обращении со мною и с другими, не будучи уверен в вашем чувстве? А своенравие, а капризы – какую будущность готовит мне это?.. Вы молчите?

Елена сложила руки вместе, потупила глаза и склонила голову вперёд.

– Я ожидаю ваших приказаний, – сказала она.

– А! вы решились оскорблять меня! Прощайте, баронесса. – Он взял шляпу.

– Куда ж вы? Разве не хотите пить с нами чай? – насмешливо сказала она. – Маменька и папенька будут рады видеть вас.

Адуев молчал несколько минут.

– Благодарю вас, – сказал он наконец, – вы открыли мне глаза. Я приехал с тем, чтоб объяснить решительно, вывести от вашего сердца, которое давно уже сделалось тайною и загадкою для меня, по-прежнему ли оно принадлежит мне; потребовать отчёта в вашем обращении со мной, и если оно происходит от легкомыслия, то хотел просить вашей руки, в надежде, что со временем строгие обязанности супруги изменят ветреный характер... Но теперь, после этого разговора, мне не нужно никаких объяснений; более надеяться мне нечего; вы меня не любите!

– Вы находите, а?

– Смейтесь!.. Но вы увидите, что я не ребёнок! Я готовился посвятить вам жизнь, быть вашим мужем, когда видел, что мог составить ваше и своё счастье, когда знал, что взаимность скрепит наш союз; но вести вас к алтарю без любви, холодно, как жертву приличий, по принятому обычаю, – я не могу и увольняю вас от данного слова!

– Как это сильно сказано!

Адуев не обратил внимания на её слова и продолжал:

– Признаюсь, до сих пор я существовал только любовью к вам и любимую моею мечтою была – ваша любовь. Не думайте, однако ж, чтобы я так же легко вверился опытной женщине: нет! ваша молодость, чувство, которое вы обнаруживали вначале, – всё ручалось мне за чистоту и искренность вашего сердца; кто бы мог подозревать тогда?..

– Что подозревать?

– Столько лукавства, притворства, кокетства...

– Вы забываетесь, monsieur Адуев! – сказала она гордо и с гневом.

– Таковы ли вы были прежде? И теперь, в ту минуту, когда воспоминания о прежнем столпятся в голове моей, – в глазах ещё родится слеза умиления. Несмотря на явную холодность, на оскорбления, я бы всё простил вам, в память прошедшего, если б заметил хоть тень того чувства. Но – повторяю – я не ребёнок и знаю, что надежды на счастье нет: оно прошло, как всё проходит своим чередом!..

Адуев задумался. Елена поглядела на часы.

– А помните ли, – начал он опять, – кто породил во мне эту страсть, кто раздул пламя пожара? Как в вас достало столько хитрости? Так молоды, а коварство уже успело закрасться в сердце, которое, казалось, дышало одной искренностью, простосердечием! Когда я воротился из чужих краёв, усталый, недовольный ничем, когда утомлённая душа моя искала одиночества, – кто приветно улыбнулся мне и озарил будущность блестящими и – как я вижу теперь – несбыточными мечтами? Вы, Елена! вы очаровательно улыбкою вызвали меня на сцену света, на участие в этом вихре жизни, в котором кружились сами. Я кинулся вслед за вами...

Елена зевнула.

– Помните ли, как, просиживая со мною по целым часам вот здесь, на этом самом месте, или на даче в саду, вы забывали свет, не хотели никого видеть, кроме меня? Когда я, томимый

нравственным недугом, медленно угасал, не вы ли, как ангел-утешитель, сказали мне: «Живи для любви»?

– Кажется, я не говорила этого.

– Тогда вы – как будто разрешили за меня задачу счастья. Я жадно вслушивался в утешительные слова, впивался взорами в ваши глаза, и в них сиял тёплый луч не одного сострадания, а взаимности, нежного участия; вы, кажется, говорили ими: «Люби меня, и тебе откроется целый мир блаженства; я создам тебе счастье и разделю его с тобою». Помните ли вы?

– Ну можно ли помнить такой вздор? Это так давно было! Неужели вы всё ещё помните?

– Я закрыл глаза. «Вот где счастье!» – подумал я, бросился за призраком и – очутился в бездне. А как я любил вас!.. как любил!.. Теперь стыжусь признаться в этом самому себе. Это последняя дань сердца, последний отголосок чувства, которое вы уничтожаете так безжалостно!

Елена небрежно играла локоном и, по-видимому, рассматривала висевшую на стене картину; но если бы кто вникнул в выражение, которое то появлялось, то исчезало в глазах её, тот – о! тот погрозил бы ей лукаво пальцем и назвал притворщицей.

– Какая непостижимая перемена! – начал опять Адуев. – Холодность, насмешки, капризы... не этим ли вы хотите заставить меня полюбить жизнь? это ли награда за преданность? А внимательность, даже нежность, вы расточаете бог знает кому! и для чего? Чтоб об вас говорили невыгодно в толпе негодяев!.. чтоб ваше драгоценное, святое для меня имя проносилось хором повес!.. чтобы поступкам вашим давали двусмысленный толк!.. Может быть, со временем вы вспомните обо мне и так же вздохнёте, но только не притворно, не иронически, а прямо из души – даже когда будете замужем. Прощайте, Елена Карловна! я всё сказал.

– Всё?.. Ну, слава богу! Я думаю, вы устали?

– Унижаться долее не стану. Благодарю судьбу, что остановился вовремя.

Он слегка поклонился ей; она встала и сделала ему грациозный и церемонный кникс.

– О! как свет испортил ваше сердце, до какой степени заглушил всё доброе! Теперь, в эту горькую для меня минуту, вместо того чтоб подать в утешение руку, кинуть взор хотя простого, дружеского участия взамен блаженства, которое так легкомысленно обещали и которого дать не можете, вы обнаруживаете такое язвительное пренебрежение! Вы не понимаете, какие глубокие раны наносите и без того растерзанному сердцу. В последний раз я в вашем доме!

– Зачем же вы хотите лишить нас вашего приятного общества? Мы принимаем по вторникам и пятницам. Надеюсь, что вы не откажетесь быть в числе наших гостей и...

Адуев не дослушал и, с отчаянием в душе, скорыми шагами вышел из комнаты.

А она? Она ещё продолжала перебирать клавиши, прислушиваясь к шуму шагов его, и когда они потерялись в отдалении, она облокотилась на флигель, закрыла обеими руками лицо и зарыдала... Как! эта гордая Елена, эта аристократка, девица-деспот – зарыдала? возможно ли? да не она ли сама, за минуту пред тем, так холодно и равнодушно, даже с насмешкой, отказалась от человека, любившего её пламенно, преданного ей глубоко? Прошу, после этого, разгадать сердце! Что же говорило в Елене тогда и что заговорило после? Какой демон отвечал за неё сарказмами на объяснение Адуева? какой ангел заставил её теперь плакать? Зачем, гордая красавица, не заплакала ты минутою прежде? Знаешь ли, неопытное дитя, что одна твоя слеза прожгла бы насквозь сердце юноши; что он, виновник её, пал бы, как преступник, к твоим ногам? Одна слеза была бы лучшим проводником чувства, красноречивым оправданием чистоты сердца!.. Но гордость сгубила тебя. Теперь уже поздно: он не видит слёз твоих. По его сердцу вместо благоговейного трепета любви к тебе пробежал холод; в душу залегло горе, в голове кипит замысел бежать далеко, скрыть обманутое чувство, истребить его новыми впечатлениями... И подумай! одна бы слеза могла удвоить его привязанность, сделать совершенным рабом... Ну что бы тебе хоть притвориться!.. Но теперь уже поздно.

Впрочем, выключая гордости, которая помешала Елене поступить прямо, чистосердечно, исключая капризов, происходивших от властолюбия, свойственного хорошенькой девушке, – виновата ли Елена?

Она девушка с душой, образованным умом; сердце её чисто и благородно; поведение же, вооружавшее против неё Егора Петровича, происходило от особого рода жизни. На ней лежал отпечаток той школы, в которой она завершила светское воспитание, того круга, в котором жила с малолетства. Будучи ещё ребёнком, она замечала, что – например – её маменька глядела на своего возлюбленного супруга так, просто, как глядят все люди друг на друга, а на молодых людей как-то иначе, как не всегда глядят: вот уж у ней родилось понятие о взглядах двух родов; видала также, что княгиня Z* говорила с полковником A* при всех и о погоде, и о театре, и даже о манёврах вслух, а когда они сидели поодаль от других, то разговор как-то переменялся, делался живее, лица обоих одушевлялись, голоса, с приближением посторонних, понижались: из этого она заключила, что и разговоры бывают двойкие. Когда же она выросла, то стала внимательнее, хотя всё ещё глядела просто и говорила одно и то же всем вообще и каждому порознь. Она видала, например, что у графини P* ложа всегда битком набита молодыми людьми, а при разъезде те же самые молодые люди чуть не дерутся за то, чтоб вырвать салоп у человека и подать ей; а на бале – на бале и доступу к ней нет! Что бы всё это значило? Долго красавица думала над задачею; наконец одна же из этих графинь, которым она удивлялась, разрешила. «Ты очень мила, – сказала ей однажды блистательная дама, – но не умеешь нравиться. Ты так неприступна! от тебя так и веет холодом! один взгляд твой разгонит толпу самых любезных молодых людей. Посмотри, как интересно глядит на тебя Ладов, как приветливо встречает Сурков; всюду за тобой – суется, толпятся около тебя; а ты краснеешь, как институтка, и кланяешься, как попадаья».

«Попадаья!...» Ужас!.. Елена ахнула. «О! постой же, графиня! у тебя в ложе будет просторнее!» Не знаю, что дальше говорила ей графиня: только на другой день после урока подле Елены всё вертелся двоюродный её брат, юнкер какого-то гвардейского полка, а на первом бале после разговора она до крайности утомилась: от кавалеров не было отбою... Так и пошло. Одним словом, девушка узнала свои силы, узнала, какими магическими средствами обладает она, и, очертив около себя волшебный круг, начала действовать теми чарами, которыми наделили её природа и воспитание. Этот волшебный круг был – девическая непорочность, чистота нравственности; а волшебство было для неё не более как только забавою, весьма употребительною в свете. Она не совсем подражала графиням.

Ну а сердце?

Оно долго оставалось холодно и спокойно и забилося только с появлением Адуева, – забилося для него, сильно и часто. Елена охотно уступила действию прекрасного, нового для неё чувства; она месяца на полтора перестала быть светской блистательной девушкой, стала прежнюю очаровательною Еленою, явилась со всею простотою неподдельной прелести, погрузилась на время в самое себя, открыла в душе сокровища, которыми была наделена, и, отличив Адуева от толпы поклонников, оценив его ум, благородство души, силу характера и воли, а главное, предузнав по какому-то женскому инстинкту, какого рода чувство и в какой степени способен он питать, угадав в нём человека, который один только мог сделать её счастливою, что одного его могла она любить так, как любила, потому что он ближе всех подходил к её идеалу, олицетворения которого напрасно искала она между светскими любезниками, – угадав и рассчитав всё это – заметьте: девушки не только рассчитывают, но и обсчитывают, – итак, рассчитав всё это и полюбив его как нельзя больше, она стала действовать на него уже не теми чарами, какими действовала на прочих, но обнаружила сокровища ума, сердца, души и покорила. Он вверился пленительной надежде на счастье, увлёкся прекрасной идеей будущности и предался совершенно очаровательнице. Уверясь в его чувстве, освятив его взаимностию, а главное, свыкнувшись с мыслию о своём счастье, Елена не сочла грехом обратиться к преж-

ним привычкам, которые у неё несколько не мешали любви и от которых ей бы и трудно было отстать, потому что тогда от неё отстали бы все светские мотыльки, а это повредило бы, в глазах света, репутации её любезности и, может быть, – таков человек! – породило бы предубеждение насчёт её красоты, уронило бы в глазах соперниц, вырвало бы пальму первенства в свете, и... мало ли что ещё могло бы случиться! Посмотрите, и так сколько зол, сколько горьких следствий произвело бы это: как же можно быть ей прекрасною в глазах только одного человека? Никак нельзя! Она права: ссылаюсь на суд моих читательниц.

Стало быть, виноват Егор Петрович? Нет, и его винить нельзя. Он родился под другой звездой, которая рано оторвала его от света и указала путь в другую область, хотя он и принадлежал по рождению к тому же кругу. Добрые и умные родители, заботясь одинаково как о существенных, так и о нравственных его пользах, дали ему отличное воспитание и, по окончании им университетского курса, отправили в чужие края, а сами умерли. Молодой человек, путешествуя с пользой для ума и сердца, наглядясь на людей, посмотрел на жизнь во всём её просторе, со всех сторон, видел свет в широкой рамке Европы, испытал много; но опыт принёс ему горькие плоды – недоверчивость к людям и иронический взгляд на жизнь. Он перестал надеяться на счастье, не ожидал ни одной радости и равнодушно переходил поле, отмежёванное ему судьбою. У него было нечто вроде «горя от ума». Другой, на его месте и с его средствами, блаженствовал бы – жил бы спокойно, сладко ел, много спал, гулял бы по Невскому проспекту и читал «Библиотеку для чтения»; но его – его тяготило мёртвое спокойствие, без тревог и бурь, потрясающих душу. Такое состояние он называл сном, прозябанием, а не жизнью. Эдакой чудак!

Когда предстала ему Елена, он, в свою очередь, также оценил её и понял, сколько счастья заключалось в обладании ею, – счастья, которого, может быть, достало бы ему на всю жизнь. Он вышел из усыпления, вызвал жизнь из глубины души, облёкся в свои достоинства и пошёл на бой с сердцем девушки. Оно уступило; он достиг цели, наслаждался, гордился, не заметив господствующей слабости, потому что Елена, как мы видели выше, на время покинула её.

Составив себе строгую идею о ней, с трепетом любви преклоняясь пред её достоинствами, он пророчил себе чистое блаженство в будущем, радовался, что есть чувство в груди его, которое может помирить его с жизнью, что есть посредница между им и светом, что есть состояние, которое он может назвать счастьем.

«Вот и я начинаю жить!» – думал он, и вдруг... А он воображал её так чистою, чуждою суетности; возвышаясь понятиями и благородством души над толпою молодых людей, он сам никогда не расточал лести перед женщинами, не ловил их минутной внимательности, был слишком опытен, чтобы поддаться обману, и не льстился теми наградами, за которыми жадно гонялись прочие.

Бега от... язык не поворачивается выговорить!.. от кокеток – надобно же наконец назвать их своим именем, – он составил себе строгое понятие о той женщине, которую готовился назвать своею, – понятие, может быть, несколько устарелое, романическое, отзывающееся варварством. Любя сильно, страстно, он думал, что женщина должна совершенно посвящать себя одному ему, так, как он посвящал себя ей; не расточать знаков внимательности и нежности другим, а приносить их, как драгоценные дары, в сокровищницу любви; не знать удовольствия, которое не относилось бы к нему, считать его горе своим и проч. Виноват ли он, что, при этих понятиях, ему не нравилось поведение Елены? «Суций варвар!» – скажут читательницы. Но я ссылаюсь на суд читателей.

Кто же виноват? По-моему, никто. Если б судьба их зависела от меня, я бы разлучил их навсегда и здесь кончил бы свой рассказ. Но посмотрим, что будет далее.

Они расстались, – может быть, и в самом деле навсегда. Гордость не позволила Елене обнаружить настоящего чувства. Теперь она проливает слёзы и, вероятно, решилась бы на жертвование в пользу любви, лишь бы возвратился он, который был целью её жизни, её сча-

стием. Она тогда только узнала всю цену ему и то, как она его любит; но он не воротится: в нём также проснулось ужасное чувство, убивающее любовь, – гордость, спесь мужчины, долго томившегося страстью и отвергнутого. Он сбросил цепи бесполезного рабства, гордо поднял голову и запел песнь свободы... Бедная Елена! Но полно, так ли? А вот увидим.

Сумерки уже кончились. Все комнаты освещены; люди засуетились; в кабинете барона послышался говор; старики потребовали зельцерской воды и возобновили беседу, прерванную сном; в комнате супруги барона раздался звон колокольчика; всё пришло в движение – настал вечер, а Елена всё ещё неподвижно сидела на том же месте, повесив голову. Хотя она не плакала более, но место слёз заступила бледность, в глазах изображалось чуть-чуть не отчаяние. То не была уже светская, гордая девушка, царица зал, повелительница толпы поклонников, всегда спокойная, всегда величавая, с надменностью во взоре, с улыбкою торжества. Нет! с неё спала мишура; горе сравнивало её со всеми, и никто, увидев её в этом положении, не сказал бы, что это блистательная девушка высшего круга: всякий сказал бы, что это просто несчастная девушка.

Мне скажут, что её горе есть горе мечтательное, не заслуживающее сострадания; что причина так ничтожна... По-моему, какая бы ни была причина горя, но если человек страдает, то он и несчастлив. От расстройства ли нерв страдает он, от воображения ли или от какой-нибудь существенной потери – всё равно. Для измерения несчастья нет общего масштаба: о злополучии должно судить в отношении к тому человеку, над которым оно совершилось, а не в отношении ко всем вообще; должно поставить себя в круг его обстоятельств, вникнуть в его характер и отношения.

Да! Елена была несчастлива, и к тому же горе её не есть мечтательное горе. Любовь Елены к Адуеву не была просто вспышка: она также любила его глубоко, от всей души, в первый и – может быть – в последний раз. Умом и душою она была выше своей настоящей сферы. Отпраздновав днём на празднике суеты, удовлетворив самолюбию и собрав обильную дань поклонения своей красоте и любезности, – о чём мечтала она вечером, оставаясь одна? Всё о счастии быть любимой, о будущей своей жизни, которую расположилась провести с Адуевым. Свет не наполнял пустоты её сердца; суетность ошибкой втеснилась в душу; она сама нетерпеливо ждала, когда кончится период девичества и настанет эпоха супружества, эпоха, с которой она будет принадлежать одному человеку. И вдруг все надежды исчезли! он не любит её более, потерял уважение к ней... Какое мучение! Будущее, с удалением молодого человека, закрылось бесцветной пеленой; она осталась одна навсегда. Лишась предмета, избранного сердцем, она должна отдать теперь участь свою в распоряжение случая. Бог знает, кто будет её мужем; может быть, она сделается жертвою дипломатических расчётов своего отца... О! как в эту минуту опротивел ей свет с своими любезниками!

...Да, она истинно несчастлива! – Она не слыхала, как отворилась дверь, как вошла рыжая англичанка, и тогда только узнала об её присутствии, когда та пролаяла по-своему, что парикмахер ждёт её в уборной и что маменька приказала напомнить о бале.

– Бал!.. Боже, этого только недоставало! Я не поеду на бал, – сказала она также по-английски, – слышите ли? скажите маменьке, парикмахеру, скажите целому свету! я не хочу, не могу. – Елена говорила это с выражением совершенного отчаяния, и если бы была мужчиною, то непременно прибавила бы: «God dam!»⁶

Однако не ехать на бал нельзя; или ей надобно притвориться больной недели на две, а то – что скажет свет? И она, как жертва, со вздохом повлеклась с своей компаньонкой в уборную.

Чудо-уборная! Какая роскошь! сколько вкуса! Я видал все эти вещи и прежде в магазинах Гамбса, Юнкера, Плинке; но там они не производили на меня такого впечатления, как здесь. Отчего же это? Оттого, что здесь каждая из них гармонически отвечает целому, что здесь они в храме богини; на них лежит печать её присутствия; они как будто живут своею особенною

⁶ «Чёрт возьми!» (англ., искаж.; правильно: «God damn!»).

жизнию. Ну что, например, занимательного в этом бронзовом подсвечнике с транспарантом, если посмотришь на него в магазине? но когда увидишь в нём остаток свечи, подле развёрнутую книгу и оставленный платок с шифром красавицы; если вообразишь, как она сидит за этой книгой и читает, – то какую магическую прелесть получит и подсвечник, и платок, и даже самая книга, – будь она хоть «Сочинения» Фиглярина! (которых, впрочем, Елена никогда не читала: боже её сохрани!). Ну что особенного в этом туалете? Стол с зеркалом – больше ничего! Но вот на нём лежит её перчатка, вывороченная наизнанку, – крошечная и пахнет амброй. Воображение никак не хочет приписать этого запаха французским духам, а непременно ручке, которая носит её. Диван – прекрасная мебель, и всё тут! Но красавица переменяла на нём башмаки, и один миниатюрный башмачок забыт горничною. Как небрежно свесились ленточки! – так и тянет к нему! Оглядываешься, нет ли кого – особенно Адуева; хватаешь сокровище и целуешь: нельзя утерпеть!

Теперь Елена сидит в креслах перед трюмо и едва понимает, что происходит около неё; а около неё хлопочут парикмахер и три горничные. Как хороша Елена теперь! Она так гораздо лучше, нежели на каком-нибудь рауте. Там она вооружается особыми приёмами, особыми взглядами, особою речью; а теперь горе убрало её по-своему, но как хорошо! Зачем она не понимает, что она гораздо лучше, когда ею управляет какое-нибудь сильное непритворное чувство? Она небрежно сидит и даже, против обыкновения, не смотрит в зеркало; чёрные, всегда живые, блестящие, молниеносные глаза подёрнулись туманом грустной задумчивости; в них дрожит слеза; на щеках румянец спорит с бледностью, то выступая, то пропадая опять; уста полуоткрыты; голова склонилась к левому плечу. Она не почувствовала, как куафер отнял с одной стороны шпильки и как волосы роскошных кудрей прянули на щёку и, играя, вдруг рассыпались кругом по плечу; не заметила, как горничные, примеривая бальную обувь, сняли башмачок с ножки, подложили под неё бархатную подушку, на которой так резко оттенялась эта чудная, восхитительная ножка.

Я постигаю теперь, отчего между парикмахерами нет ни одного угрюмого, задумчивого человека, отчего они веселы и болтливы: иначе и быть не может. Каким бы холодным ни создала природа куафера, но одно уже прикосновение к голове красавицы должно действовать на него магнетически. Изящное действует на самые грубые души, особенно же, я думаю, изящное в виде Елениной головы. Как он деспотически распоряжается прекрасною головкою Елены! то наклоняет, то поднимает её, поворачивает то в одну, то в другую сторону, как будто рассматривает с видом знатока. Как свободно святотатственные взоры гуляют от маковки к затылку и обратно! Он то нагнётся к ней, будто подышать её атмосферой, то откинется назад, будто полюбоваться издали, как художник любит своим произведением; вот, вот захватил одною рукою целую прядь волос, а другою... Сколько прелестей открывается с каждым движением! Нет, терпенья недостаёт! Напрасно глядишь на распятие из слоновой кости, стоящее на столике; напрасно силишься благочестивыми размышлениями заглушить волнение: не помогает! В голове жар, в глазах мутно; кровь то прильёт, то отхлынет от сердца... Отвращаешь взоры – и видишь... новое искушение! на диване раскинулось в пленительном беспорядке роскошное газовое платье, готовое заключить красавицу, обнять, стиснуть её стройный стан, пышные формы... платье до того лёгкое, воздушное, эфирное, что если бы мы с вами, почтеннейший читатель, вдвоём дунули на него, то оно перелетело бы на другое место.

Нет! больше никогда не пойду в такие места. Лучше посмотреть, что делает Егор Петрович.

Он уж не так бойко спустился с лестницы, как взошёл на неё; останавливался на каждой ступеньке, как будто о чём-то размышляя; ноги его подкашивались, точно как, по выражению Гюго, на каждой ноге у него было по две коленки.

Покидая порог дома, в котором он был так жестоко оскорблён и в который не имел намерения возвращаться, ему бы следовало отрясти прах от ног своих; но он, вероятно, забыл сле-

лать это и тихо побрёл по тротуару, а кучеру велел ехать вслед за собой. Какая разница между приездом и отъездом! За час он летел ещё с надеждой обладать Еленой, с правом на её сердце и руку; теперь она не существовала для него более. Он шёл тихо, как ходят все несчастные, склонив голову на грудь, потупив взоры в землю; не слышал и не чувствовал ничего. Так он добрел домой. Если бы слуга не догадался снять с него почти насильно шинели, то он в ней вошёл бы в залу; но он вошёл только в шляпе, сел на такое место, на которое никогда не садился прежде, и тихо, про себя, начал говорить следующее: «Вот жизнь! За час, я ещё назывался счастливым, а теперь!.. Глупец! ребёнок! к чему послужила мне опытность? положился на счастье!.. Что пользы, что я узнал жизнь вдоль и поперёк, что испытал сам и видел, как другие спотыкаются на каждом шагу и всё-таки делаются жертвой нового обмана? Знал и – попался!.. Стыд!.. Но кто ж бы устоял против обольщения? Жизнь моя и так не красна; и так я долго крепился: а ведь я человек!.. Как больно обмануться в последней надежде! как грустно отказаться от лучшей мечты!..»

Он погрузился в задумчивость; потом встал и скорыми шагами начал ходить по комнате.

«Что начать?.. Куда я денусь с своей тоской?..» – Он задумался. Наконец вдруг глаза его приняли совершенно другое выражение: они заблестали гневом; губы судорожно сжались.

«Нет! – воскликнул он, – я не поддамся горю, не стану томиться под бременем тоски! нет! клянусь честью, нет! У меня достанет твёрдости отказаться от несбыточной мечты, забыть её... Я найду чем рассеяться. Чтение, множество покинутых занятий; не поможет – пушусь странствовать по свету: опять в Германию, на жатву новых знаний, под благословенное небо Италии, Греции. Говорят, путешествие всего спасительнее для сумасшедших этого рода. Да мало ли занятий! Вот, например, я целый месяц не видал в глаза своего управителя и не знаю, что делается в моих деревнях; а от меня зависит судьба трёх тысяч человек, от них моё благосостояние. Нечего медлить! сейчас же и займусь. О! я возвращу утраченное спокойствие; недаром я мужчина!»

– Эй! – закричал он. Явился человек. – Позвать управителя ко мне в кабинет!

Через пять минут в кабинет вошёл, с кипой бумаг, управляющий Егора Петровича, низенький старик, чрезвычайно плешивый, в гороховом сюртуке. Он низко поклонился и стал у порога.

– Давно мы не видались с тобой, Яков! Что ты нынче не ходишь ко мне с делами?

– Я хожу, батюшка Егор Петрович, каждый день, как и прежде, да мне всё говорят, что вы изволите уезжать к барону Карлу Осиповичу.

– Сегодня это в последний раз сказали тебе. Начиная с нынешнего дня докладывай мне обо всём, показывай каждую бумагу. Я сам хочу всё видеть и знать.

– Слушаю-с, – сказал старик и низко поклонился.

– Что же у тебя есть?

– Да вот, сударь, архитектор из воронежской вотчины пишет, чтобы изволили назначить срок, когда дом в Ельцах должен поспеть: ещё осталось довольно работы, а весна близко. Да садовник просит выписать семян для цветника, что вы приказали разбить; реестр прислал, да не по-нашему писано.

– Врут они оба! – с сердцем прервал Адуев, – ничего не нужно. Оставить стройку и отпустить архитектора; в саду тоже никаких затей не нужно. Я не поеду туда.

– Слушаю-с. – И старик низко поклонился.

Недаром рассердился Адуев: все частные планы, о переделке деревенского дома и о переменах в саду, входили в один общий план его женитьбы. Он уже мысленно нарёк Елену своею и, составив теорию будущего счастья, начал практически приводить её в исполнение. Воронежскую свою деревню, имевшую прекрасное местоположение, назначил он будущим жилищем и тамошний старый, мрачный, некрасивый дедовский дом задумал преобразить в светлый храм любви, там он предположил свой Эльдorado. Он изучил вкус Елены до мельчайших подробно-

стей, искусно выведал будущие её желания и, соединив их с своими, начал делать, сообразно этому, перемены в деревенском доме и саду: пригласил архитектора и выслал из Петербурга планы для переделки дома, садовнику тоже надавал множество приказаний. Он уже помышлял о покупке мебели и разных вещей для украшения дома, уже мысленно распределил занятия в деревне, расположил свой будущий семейный быт, заботился о дополнении библиотеки любимыми авторами Елены; часто задумывался о том, как введёт милую хозяйку в дедовский уют и начнёт новую эпоху жизни. Хозяин, благодетель своих подданных, муж, обладатель прелестной женщины и потом – вероятно, отец... какая будущность! И вдруг – кто бы мог подумать?... Демон бешенства овладел им, когда управитель напомнил ему о планах, которые превратились теперь в воздушные замки и никуда не годились.

Он начал опять ходить по комнате.

– Что у тебя ещё есть? – сердито спросил он.

– Староста ярославской вотчины пишет, – с трепетом начал Яков, – не будет ли вашей милости помочь как-нибудь двум парням; им пришёл черёд в рекрутчину; у одного-то осенью отец ногу порубил, сидит на печи поклавши руки, а он с сыном только и работали на всю семью; остались бабы да малолетки – хоть по миру идти; другой сосватал было невесту, сироту, девка работающая, клад для семьи. Такие горемыки, пишет староста, что сердце ноет, глядя на них.

Адуев нахмурился.

– Что?... невесту?... Я ему дам невесту! Сумасшедший, вздумал жениться! Вздор! обоих в солдаты, а девку на фабрику; если староста ещё будет писать, так и его туда же! Я не люблю шутить! слышишь, ты?

– Слышу, батюшка Егор Петрович; завтра приготовлю ответ.

– Дальше!

– Из курской деревни мужички челобитье прислали, крепко жалуются на неурожай, просят, не отсрочите ли недоимки ещё на годок: больно худо пришло.

– Вздор! чтобы нынешний же год всё до копейки было взыскано, а не то... понимаешь?

– Ваша барская воля, сударь. Завтра напишу, – отвечал старик и низко поклонился

– Всё ли?

– Всё, сударь.

– Ну ступай же; да смотри докладывай мне обо всём самому.

Управитель вышел из кабинета в переднюю, где ожидал его другой старик, Елисей, дядька и камердинер Адуева.

– Что, батюшка Яков Тихоныч, подеялось с Егором Петровичем? Поведай. Ума не приложу: никогда я не видывал его таким.

Яков махнул рукой и рассказал, что произошло между ними – как барин принял челобитную мужиков, как отвечал на просьбу рекрут. «Видно, в покойника барина пошёл! – так заключил Яков свой рассказ, – человек, подумаешь!»

– Что ты говоришь, Яков Тихоныч!

– Ей-богу, право.

Старики попотчевали друг друга табаком и разошлись. Между тем Адуев ходил в сильном волнении по комнате.

– Ну вот, я теперь и спокоен! – говорил он, судорожно отрывая одной рукой пуговицу у сюртука, а другой царапая чуть не до крови ухо, – совершенно спокоен! Одно дело кончил; теперь займусь другим... О! я забуду её!..

В это самое время лукавый напомнил ему про доклад управителя о перестройке деревенского дома; воображение начало развивать картину утраченного блаженства; он представил себе поэтический уют – дом, чудо удобства, вкуса и роскоши, прелестный сад, где искусство спорило с природой; о том, как бы они вдвоём с Еленой заперлись там от глупых соседей, от целого мира; там он с волшебным зеркалом лежал бы у ног своей Армиды.

...И всё погибло! Великолепное здание мечтаний рушилось! – Он совсем оторвал пуговицу и до крови расцарапал ухо.

– Нет! это низость, малодушие! – вскричал он, – прочь, лукавые мысли! прочь, оболстительные мечты! полно вам тешить меня! я вытесню вас из памяти, запишусь под знамёна какого-нибудь развратного корифея буйных шалунов, пристану к их хору и среди оргий истреблю память о ней, буйным криком перекричу голос сердца... Завтра же начну новую жизнь!

Он схватил перо, лист бумаги и начал писать. Через пять минут он кликнул Елисея.

– Завтра у меня будут обедать эти двадцать человек, которые здесь записаны. Разошли к ним людей с приглашениями, а на тебя возлагаю заботы о столе. Смотри же! роскошный обед, шампанского вдоволь, да были бы карты!..

– Помилуйте, сударь, ведь уж ночь: когда успеешь?

– Успей когда хочешь! – закричал Егор Петрович, – я ничего знать не хочу! чтоб было! Старый чёрт, умничать стал – вон!

Старик сначала с удивлением, потом с грустью посмотрел на Адуева.

«Старый чёрт! – шептал он, покачивая головой, – каково махнул? отродясь не слыхивал себе такого счастья! Чего я дождался от вас, Егор Петрович, дожив до седых волос! Вынянчил вас, тридцать лет служил вашему батюшке, под туретчину с ним ходил, а и от него не слыхивал такого нехорошего слова».

Адуев молча показал ему рукою на дверь. Старик отёр ладонью слезу, поднял с пола реестр, написанный Адуевым, и тихо, печально, с поникшей головой побрёл вон.

«Боже! – воскликнул Адуев с тоской, – куда завлекла меня страсть? что я делаю? – я потерял рассудок...» – Он закрыл лицо платком и зарыдал глухо, без слёз. Его страшно было слушать: он был жалок и ужасен. Ему стало душно, жарко, несносно; он с трудом переводил дыхание; признаки душевной бури и физического недуга уже легли на лицо, которое, ещё за два часа пред тем свежее, прекрасное и цветущее, теперь совсем изменилось: глаза потеряли блеск, будто после продолжительной болезни, щёки опустились, все черты были искажены, волосы в беспорядке. Наконец мало-помалу бешеная тоска впала в тихую грусть; он наружно стал спокойнее. Одной рукой облокотясь на стол, другой он машинально вертел лежавший на столе какой-то билет; наконец, бросив на него случайно взгляд, он прочёл: «Билет для входа на бал в Коммерческом клубе».

– Откуда взялся этот билет? – спросил он, кликнув слугу.

– Какой-то барин завёз и приказал сказать, что надеется вас непременно видеть на бале.

«А! Сама судьба посылает мне средства к развлечению! Пойду, куда она влечёт меня; может быть, неожиданно буду счастлив».

– Давай же одеваться! – сказал он слуге, – и вели закладывать карету.

– Знаешь ли, где Коммерческий клуб? – спросил он кучера.

– Никак нет-с.

– Где-то на Английской набережной; надо спросить.

– А! знаю-с!

– Ну так пошёл туда!

Все бытописатели, когда приходилось писать о бале, не забывали никогда упоминать о самом ничтожном и само собою разумеющемся обстоятельстве, что подъезд и окна бывают ярко освещены, а улица перед домом заперта экипажами. Да разве может обойтись без того один съезд порядочных людей? Конечно, описать эти мелочи, как описал Пушкин в «Онегине», другое дело! Туда мы и отсылаем любопытных по этой части и упоминать более об этом не станем, потому что не намерены изображать картины бала, который нам нужен только для одного обстоятельства, имевшего большое влияние на судьбу Егора Петровича.

Адуев вошёл в сени, сунул билет свой в руки богато одетого швейцара и с удивлением стал подниматься на лестницу, которую облепил дорогой ковёр, сделавший бы честь не одному кабинету; по бокам тянулся ряд померанцевых и лимонных деревьев; она упиралась в двери с золотой резьбой, с хрустальными стёклами. В передней толпились официанты, одетые в бархат, облитые золотом. Одним словом, всё было так, как бы пристало какому-нибудь аристократическому балу.

«На публичном бале – и такая роскошь! – подумал Адуев, – странно!»

Двери отворились, и ему представилась анфилада ярко освещённых комнат. Остановившись на минуту в дверях залы, он через лорнет вперил взоры в толпу и с удивлением увидел, что тут собралась вся петербургская аристократия, «сливки общества». Перед глазами у него беспрестанно мелькали звёзды, ленты, все существующие на свете мундиры, потому что тут находились представители всех держав. Тут были и те молодые люди, которые наружными качествами отличились бы всюду, даже на Страшном суде, когда вся толпа человечества предстанет вместе. Тон, приёмы, костюм, доведённые до высшей степени изящности и совершенства, простоты и естественности, под которые нельзя подделаться, обличали в них первоклассных денди, людей, на которых воспитание чуть ли не сама природа набрасывает особый оттенок.

«Эти как попали сюда? – подумал Адуев, – я никогда не слыхивал от них ни слова о Коммерческом клубе». – И отошедши к зеркалу, он бросил испытующий взор на свой костюм, потом вошёл в залу.

Недалеко от дверей стоял старик почтенной наружности в иностранном мундире. Он раскланялся с Адуевым и сказал ему какое-то приветствие.

«Здесь собрано всё, чтоб сделать этот бал непохожим на публичный, – подумал Егор Петрович, – какой-то старик встречает меня, как будто хозяин! Верно, бывает у барона и видал меня».

Он вежливо отвечал на поклон и отправился далее.

Наконец, добравшись до того места, где совершалась первая часть бала – танцы, он остановился. Там собрались блистательные дамы, от которых Адуев по возможности бегал, которые зимой, по вечерам, живую гирляндой обвивают бельэтаж Михайловского театра, а по утрам Невский проспект, которые летом украшают балконы каменноостровских дач. Они, как звёзды первой величины петербургского общества, разливали вокруг себя радужный свет. Какая утончённая изысканность! сколько изящества и вкуса в нарядах! На Адуева так и повеяло холодом приличий, так и обдало той атмосферой, в которой бывает тесно, несвободно дышать мыслящему человеку. Он внутренне проклял Бронского, который привёз ему билет.

«Повеса! – ворчал он, – и не предупредил меня! Верно, хотел сделать сюрприз. Признаюсь, ему удалось как нельзя лучше. Да где же он сам! отчего по сю пору не едет?»

В это время одно из блистательнейших светил, протекая мимо его, остановилось.

– И вы здесь, monsieur Адуев? – сказала оно, – редкое явление – вы такой нелюдим! Через кого вы здесь?

– Через Бронского, княгиня.

– А я думала, через барона, – сказала она и потекла далее, влача за собой маленькую, коротенькую княжну, как корабль влачит лодочку.

«Да, как не так! – подумал Егор Петрович, пробираясь далее, – поедет барон в Коммерческий клуб, несмотря даже, что и ваше сиятельство здесь! Впрочем, все его товарищи по службе и по висту приехали же сюда; стало быть, и он мог бы приехать».

– Ah! bonjour, cher George! ⁷ – вскричал молоденький гвардейский офицер, схватив его за руку, – как ты попал? Ну, очень рад, что ты одумался и наконец разрешил показаться в свет. А

⁷ А! здравствуй, дорогой Жорж! (фр.).

ведь прежде ты терпеть не мог. Не правда ли, что здесь очень мило? *magnifique, n'est ce pas?*⁸ Пойдём, я познакомлю тебя с Раутовым, Световым, Баловым. Премилые ребята! они заочно любят тебя и бранят давно, что ты прячешься от людей. С твоими достоинствами, надо идти вперёд. Пойдём!.. Да! кстати! будешь ли в пятницу у австрийского посла?

– У австрийского посла! В уме ли ты? Будто это одно и то же!

– Да, почти, *mon cher*; все те же лица будут там; разве императорская фамилия...

– Полно вздор говорить! Лучше скажи, будешь ли завтра у меня обедать? Я послал к тебе приглашение.

– Что у тебя? сюрприз готовишь? уж не наследство ли получил? Да стой! ты что-то бледен, расстроен... Ну так и есть! бьюсь об заклад, что наследство; ты из приличия делаешь кислую мину... В таком случае не следовало бы приезжать; а то – что скажут в свете? – серьёзно шепнул он ему на ухо и бросился навстречу входящей даме с девицей; а Адуев пошёл далее, беспрестанно сталкиваясь по пути с знакомыми и с неизбежными вопросами: «Ах, и ты здесь? – Каким образом вы попали сюда? – Ба! вот сюрприз! bravo! – И вы в свете?»

Наконец это надоело ему, и он вышел из залы в следующие комнаты, частью пустые, частью наполненные играющими в карты.

«Всё это слишком богато для публичного бала, – думал он, – куда ни обернёшься, везде мрамор, бронза. Какая мебель! точно как будто ещё вчера здесь жил какой-нибудь вельможа: расположение и уборка комнат ясно показывают это. Вот и картинная галерея!» – И направляя лорнет на картины, он ахнул: тут были произведения итальянской кисти всех школ, почти всех знаменитых художников, в оригиналах.

«Что это значит?» – воскликнул он. Между прочим, тут были портреты государя и государыни, превосходной работы, и подле них портрет какого-то генерала в иностранном мундире. Он искал взорами знакомых, чтобы спросить, чей он; но знакомых тут не случилось, и он стал рассматривать группы изваяний. Опытный взор его тотчас увидел превосходный резец. Тут также были бюсты государя императора и государыни императрицы, поставленные на возвышении; а с противоположной стороны, на таком же возвышении, стоял бюст того же генерала.

– Чей это бюст? – спросил он мимо проходившего знакомого англичанина.

– Неаполитанского короля, – отвечал тот и исчез в толпе.

«Что за влечение Коммерческого клуба к неаполитанскому королю? уж скорей бы к английскому: по крайней мере, торговая нация. Странно!»

– А! – воскликнул он почти вслух, – понимаю! верно, клуб нанимает дом, и хозяин оставил всё в своём виде... Ну, теперь понимаю!

Между тем отдалённые звуки музыки, доносившиеся из залы, привлекали, а толпа, суетившаяся около него, увлекала его туда. В дверях ему попался тот же старик и опять обратился к нему с учтивым вопросом, отчего он не танцует.

– Покорно благодарю; я никогда не танцую, – отвечал он сухо.

«Что он пристаёт ко мне? – бормотал Егор Петрович, отходя прочь, верно, я понравился ему. Да нет, вон он и за другими ухаживает. Так... добрый человек. Ведь есть этакie старики, что ко всякому лезут. Чудак должен быть; уж не помешанный ли? в публичных местах иногда являются такие. Надо спросить, кто это такой».

Но тут опять не было знакомых, а между тем кончился контрданс, и Адуев, прислонясь спиною к мраморной колонне, случайно переносил задумчивые взоры на все предметы, без выражения, без смысла. Тоска глубже впиалась в его сердце, червь отчаяния сильнее шевелился в груди среди чада великолепного бала; молодой человек сильнее чувствовал своё одиночество, потому что душа его была слишком чужда беспечного ликования, бессмысленной радости без

⁸ Превосходно, не правда ли? (фр.).

всякой цели; обаяние бала поглотило всех: только его не коснулось очарование; он был похож на зрителя, который постигает фокусы шарлатана и не разделяет удивления с толпой.

«Бал! бал! – думал Адуев, – и это может занимать людей целую неделю! Если б их ожидало что-нибудь новое, невиданное, неслыханное, тогда ждать бала – было бы только любопытство, свойственное человеку. Но за неделю взвесить сумму наслаждений, рассчитать каждое мгновение этого события, тысячу раз повторенного и столько же раз имеющего повториться, и всё-таки ждать – это просто ничтожество!» Адуев не понимал радости, суеты молодых людей и был прав, так точно, как они не поняли бы его тоски, если б знали о ней, захохотали бы над его горем и тоже были бы правы.

Но посмотрите, что с ним сделалось! Взоры его, блуждая до сих пор рассеянно, вдруг сделались неподвижны, – с жадностью, с изумлением устремились на один предмет. Он остолбенел, дыхание у него замерло... Какой же предмет, кажется, мог бы увлечь всё его внимание, взволновать? и где же? на бале! Одна только Елена действовала на него таким образом. А разве я говорю, что и теперь не она подействовала на него? Именно она, бледная, печальная, сидела подле этрусской вазы, едва отвечая на любезности трёх денди.

«Елена!.. Что это значит? в Коммерческом клубе? зачем? И так грустна... Боже, она несчастлива!» Вот вопросы, молнией мелькнувшие в голове Егора Петровича, а в сердце раздался вопль проснувшейся страсти, голос участия заговорил сильнее, нежели прежде, потому что он не видал её несчастною.

Он видит, что три любезника отпорхнули от неё, не узнав в ней обыкновенной Елены, всегда приветливой, всегда любезной, и повлеклись за графинею Z*, как хвост за кометой. Она одна; глаза её не горят по-прежнему торжеством победы и самоуверенности; из них готова капнуть слеза; она с отвращением смотрит на толпу; ей досадна, противна суетность; не то ей нужно теперь: ей нужны объятия и утешительные слова дружбы, горячее сердце матери, которому бы она поверила тоску. Но где мать? Она сидит среди блистательных старух и так же занята балом, так же не понимает её горя, как другие, а подруги носятся в бальном чаду, от которого очнутая, может быть, только на третий день после бала.

Где же взор участия? Одно только и было существо, которое понимало её, которого сердце билось для неё одной – и какое сердце! Теперь оно, это единственное сердце, оскорблено ею же. О, как несносно!.. Она машинально обратила глаза на толпу, задумчиво глядела на всё окружающее; наконец смотр толпе кончен; она подняла взоры вверх, как будто считая колонны; вот дошла до последней: больше не на что смотреть... Ба! что это такое? С нею то же сделалось, что прежде с Егором Петровичем. Отчего эти грустные, задумчивые взоры вдруг сверкнули опять молнией? отчего слёзы внезапно выкатились и стали, как два алмаза, на ресницах? Она чуть не вскрикнула; приличие едва заглушило радостный вопль. Что это значит?.. А это значит то, что она увидела Адуева.

Мысль, что он не разлюбил её, что, забыв принятые им правила, победив отвращение к шумным сборищам света, к этим шабашам, приехал сюда видеть её, искать примирения, с надеждой возратить утраченное, – мысль эта вдруг облила лицо её светом радости, какой она никогда не чувствовала, торжествуя свои победы. Вот отчего показались слёзы; вот отчего она забыла и свет, и толпу, и приличия и устремила страстный, умоляющий взор на молодого человека.

Он видел и понял всё. Нужно ли ему ещё доказательств, что он любим? Бледность, печаль, отважный, по его мнению, поступок – приезд в клуб – говорили слишком красноречиво, а взор довершил только победу, победу самую блистательную, не над сахарным сердцем паркетного мотылька, но над сердцем, оскорблённым ею. Торжествуй, красавица!

«Нарочно для меня приехала сюда! – в восторге думал также Егор Петрович. – И как она узнала? Вероятно, посылала осведомиться у людей. Так печальна!.. О! она любит меня; нет сомнения!» Он подошёл к ней с выражением полного счастья на лице.

– Я виновата, George! – сказала она тихо, – кругом виновата! Простите меня; забудьте, что я говорила и делала; не верьте словам моим: они были внушены досадой и оскорблённым самолюбием. Я люблю вас, как никого не любила до сих пор, но сама не знала о том. Я ещё никогда не лишалась любимого предмета, не испытала разлуки. Простите меня! Мучительно оскорбить человека, и вдобавок человека, которого любишь, и страдать без прощения, ежеминутно сознавая вину... О! если вы простите меня, как я буду уметь любить вас, беречь своё счастье, которое разрушила по легкомыслию! Вы дали мне урок, научили уважать себя...

Елена отвернулась в сторону, чтобы скрыть слёзы, которые появились во множестве и готовы были брызнуть без церемонии, как у всякой женщины в подобном случае. Она говорила скоро, прерывистым голосом. Не понимая ни своего, ни чужого сердца, она то боялась, то надеялась и не смела угадать ответ. Она была просто женщина, но женщина-ребёнок: настоящая женщина поступила бы иначе на её месте, хотя следствия были бы одни и те же. На всё надобно сноровку, Елена Карловна. Вы ещё молоды, сударыня! спросили бы опять у графини: та бы научила вас.

Адуев побледнел: он едва перенёс горе; но неожиданный переход, оглушающий удар счастья был не по силам ему.

– Ни слова более!.. Пощадите меня, Елена! я не перенесу, мне дурно... силы покидают меня!

И, сказав это, он тихо опустился подле неё на стул. Елена теперь только угадала ответ и хотела бросить взор на небо, но он встретил потолок, расписанный альфреско, – небо для бала очень хорошее, особенно для тех, которые там были: они бы не желали и сами лучшего – с целым миром мифологических богов. Между ними Амур, казалось, улыбнулся ей и будто хотел опустить из рук миртовый венок на её голову в знак торжества своего могущества.

Счастливцев Адуев! В каком упоительном состоянии он теперь! чувство восторга втеснилось в грудь его и мешает ему говорить, думать, даже дышать. Он сидит неподвижен, бледен, ещё не может мысленно измерить своего блаженства... мысли цепенеют в голове и сливаются в одну необъятную отрадную идею: «Она любит!» Язык его онемел. Опять досадный, помешанный старик подошёл с вопросом, не дурно ли ему, не нужно ли ему воздуха, *fleurs d'orange, des sels* ...⁹

– Нет-с, мне теперь ничего не нужно! – сказал он, собравшись с силами. – Елена, – шепнул он ей, – этой минутой вы выкупили бы кровную обиду. Я, я один виноват во всём; я опытнее вас, должен бы был поступить иначе, а не горячиться, как семнадцатилетний мальчик. Теперь обращайтесь со мной вдвое холоднее, будьте вдесятеро капризней, причудливей: я всё снесу! – Он встал.

– Куда вы?

– К барону, просить вашей руки.

– Теперь?.. Возможно ли! на нас и так обратили внимание.

– Уговорите, по крайней мере, вашу маменьку ехать поскорее домой.

Барона насилу оттащили от виста, а баронессу от старух. Адуев посадил их в карету и у их крыльца высадил опять и вошёл к ним.

– Отдайте мне Елену, барон; только вашего согласия недостаёт для моего счастья.

– Ба! что это тебе вздумалось теперь? чего ты смотрел прежде? Отложи хоть до утра. И так ты нашу игру расстроил. А какой вистик! Я был в выигрыше. Представь: у меня был туз, король сам-третей, у адмирала...

– Не откладывайте моего счастья ни на минуту! Я хочу уехать с мыслию, что Елена моя.

– Пожалуй! я люблю тебя как сына и давно готов, жена тоже; да что скажет Елена?

⁹ Эссенции апельсиновых цветов, нюхательной соли (фр.).

- Рапа! – сказала она умоляющим голосом, – faites ce, qu'il vous demande: je le veux bien! ¹⁰
– Вон она что говорит! как это ты угадал её мысли? Ну – быть так!

Отец и мать благословили дочь. Молодые люди очутились вдвоём в той же комнате, у того же флигеля, где несколько часов Адуев претерпел поражение; но кто старое помянет, тому глаз вон! Однако Егор Петрович помянул.

– Я так много страдал, – сказал он, взяв её за руку, – вы так долго мучили меня, что... на этом месте, где легкомысленно оскорбили меня... О! вам так легко загладить оскорбление!

Он подвинулся ближе; она взглянула на него и, улыбаясь, в смущении опустила тотчас взоры в землю; краска разлилась по лицу. У обоих сердца бились сильно, оба едва переводили дыхание. Наконец он наклонил несколько голову, хотел коснуться устами пылавшей щеки её, но она отвернулась, и роскошные, благоуханные кудри осенили лицо молодого человека... обернулась опять, как будто играя; уста его ещё на том же месте, ещё жаждут награды; она уже не отворачивалась, а глядела на него в какой-то нерешимости, в недоумении, с улыбкою. У обоих из глаз выглядывало счастье; недолго оставались они в бездействии: невидимая электрическая нить, проведённая от взоров ко взорам, укорачивалась... они зажмурились, а уста сошлись... Он обомлел и, замирая, с трепетом, преклонил колена и осыпал пламенными поцелуями руки её.

– Ну, на первый раз довольно! – сказал барон, стоявший в дверях. – Теперь пойдёте ужинать.

Молодые люди отскочили друг от друга, как два голубя, испуганные выстрелом.

– Нет... мы... так-с, барон!.. – пролепетал Адуев и стоял, как школьник, почёсывая голову, а Елена начала рыться в нотах.

– Ужинать! – плаксиво сказал он, – да неужели вам хочется ужинать?

– А как же нет? И тебе советую. Ты расстроил уж вистик, когда у адмирала... о! я этого никогда не забуду!.. Да ещё без ужина хочешь оставить? Слуга покорный!

Прочитав ещё раз ярко написанное выражение счастья в глазах Елены, осыпав ещё раз поцелуями руки её, Адуев помчался домой – не берусь описывать, в каком положении: женихом не был, но должно полагать, что ему было приятно.

Он опять вошёл в шляпе прямо в кабинет, где застал своего камердинера Елисея. Старик был всё ещё не в духе от «нехорошего слова», сказанного барином. Егор Петрович заметил это.

– Елисей, – сказал он, – я тебя обидел сегодня. Виноват! не сердись на меня. Даю тебе честное слово, что впредь этого не будет.

Елисей сначала выпучил глаза на барина, потом вдруг повалился ему в ноги и поцеловал руку.

– Батюшка Егор Петрович! – начал он, – ведь я холоп ваш; тридцать лет служил вашему батюшке, под туретчину ходил с ним, много господ видал на своём веку, а этакой диковинки не слыхивал, чтобы барин у холопа прощенья просил!

– Да разве стыдно сознаться в своей вине и стараться загладить её? И притом ты больше не холоп: я отпускаю тебя на волю и даю пенсию.

– На волю!.. За что, сударь, прогневались на меня? на что мне, безродному, воля? куда на старости преклоню дряхлую голову? Век жил в вашем доме; в нём хотел бы и умереть, если не откажете в куске хлеба старику. За милость благодарен; только бог с ней!.. Я вынянчил вас, тридцать лет служил покойному барину, под туретчину...

– Живи и делай что хочешь. Только не пора ли тебе отдохнуть от трудов? Служба твоя кончена. На вот, возьми хоть это.

Он подал ему бумажник с деньгами. Елисей посмотрел на него с одной стороны, обернул на другую, покачал головой и положил на стол.

¹⁰ Сделайте то, о чём он просит вас: я этого очень хочу (фр.).

– И, батюшка Егор Петрович! да на что мне? Нужды мы, по Божией да вашей милости, не видим: сыты, одеты, обуты; а сколько бедных без куска хлеба! Лучше пожалуйте им. От себя не отсылайте. Пока силы есть, пока ноги таскают, не перестану служить вам. Ну где молодому парню за порядком смотреть! да угодить вам! Я вынянчил вас, тридцать лет служил батюшке, под туретчину с ним ходил...

– Ты честный человек, Елисей! Бог наградит тебя. Ну, теперь послушай: я тебе новость скажу, старый...

– Что, сударь, старый? – спросил он торопливо.

– Старый мой пестун!..

– Ух! отошло от сердца! А уж я думал опять, прости Господи, старый чёрт скажете.

– Добрая весть! Порадуйся: я женюсь на Елене Карловне.

– Ах ты, Господи! воистину радость сказали. Привёл Бог дожить до такого счастья!

Старик перекрестился со слезами на глазах, потом опять поклонился в ноги Адуеву и поцеловал его руку.

– Поздравляю, батюшка! Кабы покойный барин, батюшка ваш, да покойница барыня, матушка ваша, были живы, Царство им Небесное! – Старик опять набожно перекрестился и взглянул на образ. – То-то бы радости-то было! то-то бы благодарили Бога за милость! Да не привёл Господь их дожить до такого счастья, а меня, грешного, удостоил. Поздравляю, батюшка! Побегу рассказать дворне! – Старик обтёр ладонью слезу и, спотыкаясь, побежал из комнаты.

Адуев почти не спал ночь, а поутру, раньше обыкновенного, начал одеваться, чтоб лететь туда, куда влекло его сердце, где его ждало другое. Кончив свой туалет, он взял шляпу и вышел в переднюю. Перед крыльцом серый рысак едва стоит на месте, храпит и роет копытом снег, как будто предчувствуя нетерпение своего господина. Человек набросил на Егора Петровича шубу и отворил уже дверь, но вдруг, как гриб вырос из земли, явился плешивый управитель с пребольшой кипой бумаг. Он низко поклонился и стал у порога.

– Что ты, Яков?

– Да к вам-с, с делами.

– С какими делами?

– Вы вчера наказывали ходить всякий раз к вам с докладом.

– Я наказывал?... Что-то, брат, не помню. – Он подвинулся к дверям.

– Как же, сударь! вы изволили сказать: «Показывай мне каждую бумагу: я хочу сам всё видеть и знать».

– Будто так и сказал?... Да нельзя ли отложить?

– Никак нельзя-с. Вот я приготовил ответ на челобитье мужичков, что недоимки-де сроку не терпят, – и тем, что черёд в рекруты пришёл...

– А, помню, помню! – сказал Егор Петрович. – Эти ответы не годятся. Напиши, что недоимки я прощаю совсем...

– Что вы, сударь! да ведь там восемнадцать тысяч! – с испугом вскричал управитель.

– Нужды нет, – спокойно отвечал Егор Петрович. (Елисей с Яковым покачали головами.) – Сверх того, из своих отпускаю десять тысяч на помощь самым бедным; а за рекрут деньги внести: одному дать тысячу рублей на свадьбу и на разживу, а другому столько же на поддержку семьи. Садовнику я сам куплю семян, а архитектору написать, чтобы дом совсем отделать к июню месяцу; я мебель и всё пришлю.

Проговорив это, Адуев пошёл проворно к дверям.

– Вот-с... вот-с, позвольте, сударь! Ещё из орловской вотчины пишут, что хлеб весь расхватали: требование большое. Не прикажете ли почать запасный? Староста пишет... Да вот я прочту, что он пишет...

Яков вздел на нос медные очки и стал рыться в бумагах, наконец достал замасленное письмо и, откашлянувшись, начал: «Желаю здравствовать многие лета милостивому нашему батюшке Егору Петровичу, а и уведомляю, что Фомка да Гараська Лапчуки, да Горшенков Фадей, да Мишка Трофимов с отцом, с Трофимом Евдокимовым, на десяти подводах...»

– Полно тебе, Яков Тихоныч, людей-то смешить! – сказал Елисей, посмотри-ко, где Егор-то Петрович! – Он показал ему в окно на улицу, вдоль которой мчался Адуев.

Егор Петрович, видя приготовления Якова к чтению письма, каковая операция угрожала продолжиться с добрые полчаса, ускользнул в двери и – был таков! Серый рысак по-вчерашнему выбивался из сил и летел как стрела по Невскому проспекту. «Пошёл!» – кричал опять поминутно Адуев. «Эка сорвиголова! провал бы тебя взял!» – опять ворчали прохожие, глядя ему вслед.

– Ну, что скажешь, Елисей Петрович? Шутка! восемнадцать тысяч недоимки простил да десять от себя в придачу дал – выходит двадцать восемь! На выкуп парней из рекрутчины что пойдёт! Две тысячи им отпустить велел так, ни за что ни про что! Двадцать тысяч с лишком, подумай сам, в минуту махнул – что табаку понюхал!

– Не в покойника, нечего сказать!

– Человек, подумаешь!

– Что ты говоришь, Яков Тихоныч?

– Ей-богу, право.

Старики попотчевали друг друга табаком и разошлись. Адуев явился к себе домой после всех гостей, названных накануне. Между ними был и Бронский, доставивший билет в Коммерческий клуб.

– Хорош! – сказал ему Адуев, – а обещал быть в клубе! Где протаскался, повеса? говори! и зачем не предупредил меня об этом бале? Я, признаюсь, такой роскоши не ожидал.

– Помилуй! – отвечал тот, – не я ли целый вечер прождал тебя у дверей залы? Отчего ты не изволил явиться? Как бы, кажется, не свидеться там? Я бы уж не прозевал. Да что тебе там особенно роскошно показалось? В твоей передней, право, не хуже.

– Помилуй! прислуга в бархате, в золоте! всё блестит, везде мрамор, бронза! какое освещение! какая мебель! целая картинная галерея! А общество! а тон! а приличие, вкус в нарядах! Меня всё с толку сбило. Хоть бы у посланника, так...

– Прислуга в бархате?.. мрамор... бронза... тон... приличие... общество? – с изумлением, протяжно повторял Бронский. – Помилуй! в уме ли ты? И что там за общество? придворных, что ли, ты там видел? или дипломатический корпус?

– Весь, братец! А графиня Z*? а P*? а все денди?.. Да вот спроси у Дружевского. И он был там. Не правда ли, Дружевский, что вчера на бале были все посланники и вся петербургская знать?

– Да, все были.

– Да на каком бале? позвольте спросить? – сказал Бронский.

– На том, где мы были вчера с Адуевым; у неаполитанского посланника.

– Поздравляем! – закричали все с хохотом, – ты из одной крайности перешёл в другую: бывало, никто не дозовётся тебя, а тут без зову пожаловал!

И молодые люди пустились хохотать и острить. Адуев призвал кучера и спросил, куда он вчера возил его.

– Да куда вы приказывали: на бал, на Английскую набережную. У того дома всегда видимо-невидимо карет стоит, а в окошках огни горят, когда ни проедешь. Я и смекнул, что, должно быть, там.

Адуев расхохотался вместе с прочими при этом наивном объяснении, особенно когда узнал, что «помешанный» старик, пристававший к нему, был сам хозяин, неаполитанский посланник.

Поднимая первый стакан шампанского... Заметьте: я сказал, не бокал; это бы был анахронизм; в обществе молодых и холостых людей шампанское из бокалов не пьют...¹¹ Поднимая первый стакан шампанского, Егор Петрович предложил тост за здоровье баронессы Елены Карловны Нейлейн, своей невесты. Молодёжь встрепенулась, шумно вскочила на стулья и хором поздравила счастливец. Дурачеств было наделано немало в тот день.

К посланнику Егор Петрович отправился с извинением, и как тот знал барона, то охотно познакомился и с ним и обещал, в благодарность за приезд его на бал, быть у него на свадьбе, на которую я приглашаю моих читательниц и читателей.

¹¹ Примечание для читательниц (*примечание И. Гончарова*).

Василий Донской

Оратория под северным сиянием

Рассказ

Быстро пролетело лето. Сопки сначала пожелтели, посерели, а потом всё чаще стали покрываться снежком и наконец стали белыми. Пришла зима, период штормов и полярной ночи. Летом мы несколько раз ходили в моря выполнять различные задачи: ЗБЖ, стрельбы, обнаружение подводных лодок и тому подобное в одиночку и в составе бригады. Тогда я понял, что и наш выдавший виды эсминец тоже на что-то годен. Орудия главного калибра шарахали так, что у нас в кубрике перегорали лампы освещения в плафонах, и было даже немного жутковато. Зенитные автоматы тоже впечатляли, стреляя по воздушным целям. Пытались запустить ракеты типа «катюша» по торпедному катеру, но первая же ракета не хотела улетать, и мы больше натерпелись страха, что её заряд взорвётся в самой установке, но обошлось. Всё это я наблюдал, когда был свободным от вахты. Не знаю почему, но командир группы не гнал меня на боевой пост, видя мой интерес к боевому применению вооружения нашего корабля.

А что ещё я понял, так это истинное назначение эсминца, эскадренного миноносца, – топить подводные лодки. До некоторой поры я не знал, что наш корабль снабжён гидроакустической станцией. Так вот, гидроакустики нашего корабля или других кораблей обнаруживали подводную лодку, засекали её координаты, и начиналась на неё охота. И наш «Окрылённый» был не последним в числе охотников. А почему? Да потому, что у нас как раз и были те самые глубинные бомбы (мины), которыми и гасили подводного врага. Эти чёрные бочки диаметром около полуметра имели огромный заряд. Они подкатывались на тележке к корме и опрокидывались в море, а через некоторое время гремел взрыв с выбросом огромной водяной горы на достаточно большом расстоянии от корабля, которое он преодолевал за это время. Это было похоже на взрывы льда перед нашим деревянным мостом на реке Битюг, только в тысячу раз сильнее. Этим хозяйством заведовали мореманы минно-торпедной БЧ-3, которых на корабле называли «румынами», – честно сказать, не знаю почему. А вот почему БЧ-2, артиллерийско-ракетная часть, «рогатые» – понятно, так как на их эмблеме были две скрещённые пушки. Остальные БЧ не помню – они для нас были пассажирами, а мы для них «маслопупами».

Приближался новый, 1975 год. Годки стали сходить с корабля, а на корабль прибыли молодые караси. Мы очень были рады и тому и другому. Я уже не был тем карасём, которого можно было назвать «зелень подкильная», – как-никак, а полгода уже позади. Теперь уже не меня, а только что прибывших карасей доставало «бачкование». Теперь можно было вздохнуть с облегчением – не во всю военно-морскую грудь, конечно, но всё-таки. Тем не менее играющие ДМБ старшины и матросы при сходе на берег требовали напослед к себе особого внимания. Окончательным аккордом, особенно для машинистов котельных, кроме «Прощания славянки», а точнее, во время неё, когда с иголки одетый в бушлат, клёши и бескозырку бывший годок отдавал последний раз честь военно-морскому флагу, сходя по трапу на берег, была «шапка» над кораблём. Видимо, такая традиция зародилась давно, и это было высшим шиком увидеть круто заваренную «шапку» – облако чёрного дыма, вырвавшегося из газохода (дымовой трубы) и на несколько секунд зависшего над ним, как кольцо дыма изо рта курильщика при раскуренной сигаре. А заваривалась она в «ишаке» – вспомогательном котле при выключенной вентиляции топки, когда мазут от форсунки горел в топке и сгоревшие чёрные

газы заполняли её, а потом резко включалась вентиляция котла, и вся эта копоть с глухим хлопком вылетала наружу. Это было нарушением инструкции безопасной эксплуатации котла, но эта традиция оставалась незыблемой, несмотря на то что из штаба флота несло на корабль: «Чёрт возьми, что у вас там происходит на „Окрылённом“?!»

Новые годки, сменившие сошедших на берег, ещё таили скрытую угрозу, но уже не такую, как сошедшие с корабля, потому, что они были на полгода моложе. А мы уже были на полгода старше.

Но как бы то ни было, а Новый год на носу. Мы, караси, особо не заботились, как его встретим, а вот годки к нему готовились основательно. И наступить он должен был уже послезавтра.

После вечерней приборки перед отбоем на корме корабля ежедневно проводилась вечерняя поверка. Вся команда по своим боевым частям выстраивалась п-образно. В центре командир корабля и старпом. Командиры БЧ докладывали о положениях во вверенных им частях после переключки старпому, а он затем командиру корабля. После чего старший помощник командовал: «Команде на ют», и весь строй делал шаг вперёд, ближе обступив командира «Окрылённого», чтобы его объявления не разлетались по всей акватории Кольского залива, а достигали ушей каждого из нас, стоящих на юте. И тут начиналось действие «люлей с пряниками вприсядку». Сам командир был дядька лет под пятьдесят, но в звании каптри. Почему так, мне не известно. Разбирать залёты он начинал спокойно и методично, один за другим. Потом, особенно если слышал оправдание, переходил на «арии Ивана Грозного» и фальцет. Распекать он умел классически, логика его была железной, но особой отличительной чертой был язык. Вроде бы наш родной русский язык, но постепенно он переходил на могучий, а затем из его уст слышался великий русский военно-морской язык, которым он владел виртуозно! Команда замирала, стараясь не пропустить ни одного слова из сокровищницы русской военно-морской речи. Наш командир своим словарным запасом мог обогатить любой толковый словарь, включая даже словарь самого Даля. Он очень ловко импровизировал, вплетая в могучий русский изысканную речь аристократии девятнадцатого века и ругательства боцманов на парусниках Петра I. Вот это было исполнение... песня!

Наш слух улаждался изысканным матом матёрого морского волка в лучших военно-морских традициях: это была прямо-таки ария «Заморского гостя» с импровизацией – оратория в высшей степени красноречия и ораторского искусства, – заслушаешься! Говорил он быстро и отрывисто, как будто отдавал команды в морском сражении. Каждое слово, каждая фраза попадала точно в цель – и не только жгла, но и разносила всё в клочья. Старая закалка, что и говорить. Таким искусством делать разнос, уверен, не обладал ни один офицер на флоте – на Северном флоте уж точно.

И вдруг в самый апофеоз его «арии» небо над нами стало озаряться разноцветными всполохами: синие, зелёные, жёлтые, красные штрихи заиграли по всему небу, меняя направление и свечение с невероятной скоростью.

«Северное сияние», – понял я.

Все уставились на небо, на необычное, разноцветное, радужное свечение, мгновенно перемещающееся по всей его необъятной шири. Оно то исчезало, то появлялось вновь. Картинка менялась как в калейдоскопе.

В свете северного сияния восклицания нашего командира воспринимались по-особенному. Ощущение было такое, что это он вызвал силы небесные в подтверждение произносимой им речи, и оно стало живой декорацией классического представления, что добавляло особого волшебства и магии. Мы как замороженные ловили каждое его слово. Этим он снискал неформальное уважение у всего экипажа корабля. В той среде, в которой я воспитывался, ни до, ни после я не слышал такого исполнения: топорный, грубый и отборный мат – да, но такого высокохудожественного – нет.

Я бы мог для примера привести пару его производных цитат, но рассказы мои должны быть в пределах 16+, а изречения его либо начинались с непечатных оборотов, либо ими заканчивались, а по отдельности были не совсем понятны из-за особенности их логического построения и теряли изысканный шарм матросского жаргона.

Всецело поглощённый этой речью и меняющейся декорацией северного сияния, я не заметил, как экипаж перестроился, но не как обычно «Команде на ют», а в четыре шеренги лицом к корме так, что оказались свободными правый и левый борт кормовой части корабля. А через некоторое время палуба вдоль них стала заставляться бутылками разной формы и размеров. Сначала я не понял, что это такое, а потом до меня дошло. Из строя были вызваны шестеро годков, а затем старпом отдал приказ: «К уничтожению боезапаса приступить!» И полетели бутылки, вдребезги разбиваясь о стенку и борт рядом пришвартованного эсминца «Отменный», сопровождающиеся при каждом залпе дружным возгласом «Ох!» всего экипажа. Минут десять продолжалась эта «экзекуция» над с таким трудом, хитростью и риском добытым «боезапасом», хоронящая надежду годков на выпивку в Новый год. Корабль был старый, командир корабля опытный, старпом строгий, да и командирам боевых частей все имеющиеся на корабле шхеры были известны, особенно в топках неработающих котлов и в трюмах. Так что праздник встречи Нового года годкам был подпорчен.

Справедливости ради надо сказать, что некоторые одинокие годки слонялись по кораблю подшофе, но их было мало, и они уж никак не могли испортить Новый год карасям под северным сиянием.

Фёдор Достоевский

Как опасно предаваться честолюбивым снам (В соавторстве с Д. Григоровичем, Н. Некрасовым)

*Фарс совершенно неправдоподобный, в стихах, с примесью прозы.
Соч. гг. Пружинина, Зубоскалова, Белопяткина и КР
<Коллективное>*

*Лет за пятьсот и поболее случилось...
Жуковский. Ундина*

I

Месяц бледный сквозь щели глядит
Не притворенных плотно ставней...
Пётр Иваныч свирепо храпит
Подле верной супруги своей.
На его оглушительный храп
Женин нос деликатно свистит.
Снится ей черномазый арап,
И она от испуга кричит.
Но, не слыша, блаженствует муж,
И улыбкой сияет чело:
Он помещиком тысячи душ
В необъятное въехал село.
Шапки снявши, народ перед ним
Словно в бурю валы на реке...
И подходит один за другим
К благосклонной боярской руке.
Произносит он краткую речь,
За добро обещает добром,
А виновных грозит пересечь
И уходит в хрустальный свой дом.
Там шинель на бобровом меху
Он небрежно скидает с плеча...
«Заварить на шампанском уху
И зажарить в сметане леща!
Да живей!.. Я шутить не люблю!»
(И ногою значительно топ.)
.....
.....
Всех величием своим устранив,
На минуту вздремнуть захотел
И у зеркала (был он плешив)
Снял парик и... как смерть побледнел!

Где была лунолицая плешь,
Там густые побеги волос,
Взгляд убийственно нежен и свеж,
И короче значительно нос...
Постоял, постоял – и бежать
Прочь от зеркала, с бледным лицом..
Вот, зажмурясь, подкрался опять...
Посмотрел... и запел петухом!
Ухвативши себя за бока,
Чуть касаясь ногами земли,
Принялся отдирать трепака...
«Ай люли! ай люли! ай люли!
Ну, узнай-ка теперича нас!
Каково? Каково? Каково?»

.....
.....

И, грозя проходившей чрез двор
Чернобровке, лукаво мигнул
И подумал: «У! тонкий ты вор,
Пётр Иваныч! Куда ты метнул!..»
Растворилась дверь, и вошла
Чернобровка, свежа и плотна,
И на стол накрывать начала,
Безотчётного страха полна...
Вот уж подан и лакомый лещ,
Но не ест он, не ест, трепеща...
Лещ, конечно, прекрасная вещь,
Но есть вещи и лучше леща...
«Как зовут тебя, милая?.. ась?»
– «Палагеей». – «Зачем же, мой свет,
Босиком ты шатаешься в грязь?»
– «Башмаков у меня, сударь, нет». —
«Завтра ж будут тебе башмаки...
Сядь... поешь-ка со мною леща...
Дай-ка муху сгоню со щеки!..
Как рука у тебя горяча!..
Вот на днях я поеду в Москву
И гостинец тебе дорогой
Привезу...»

II

Между тем наяву
Всё обычно шло чередой...

Но события таковы, что их решительно не видится необходимости воспевать стихами. В то время как в спальне не слышалось ничего, кроме носового деликатного свиста и не менее гармонического храпа, на кухне заметно уже было движение: кухарка, она же и горничная супруги Петра Иваныча, проснулась, накинула на себя какую-то красноватую кофту и, удо-

стоверившись через дверную скважину, что господа ещё спят, поспешно вышла, затворив за собою дверь задвижкою. Всегда ли она так делала или только на сей раз позабыла прицепить к задвижке замок – неизвестно. Мрак неизвестности покрывает также причину и цель её отлучки; известно только, что направилась она в который-то из верхних этажей того же дома. С достоверностию можно ещё предположить, что отлучилась она искать соответствующей её званию и наклонностям компании, потому что хотя был ещё весьма ранний час утра, но по всей лестнице уже шныряли взад и вперед кухарки, лакеи и горничные, кто с кувшином воды, кто с коробкой угольев, и на всех этажах слышались громкие голоса, весёлый визгливый смех и шарканье сапожных щёток. Чёрная лестница играет важную роль в жизни петербургского дворового человека: на ней проводит он лучшие часы жизни своей, – часы, в которые пугливый слух его не напрягается беспрестанно: не звонит ли барин? а мысль, что барин может появиться нечаянно и схватить его за вихор прежде, чем успеет он подавить весёлую улыбку и придать физиономии своей угрюмо-почтительное выражение, так далека, что он даже забывает, что у него есть барин. Здесь обсуживаются добродетели и недостатки господ; рассуждается о том, что такое барыня, и вольно льётся песня про барыню, про которую так любит петь русский человек и про которую знает столько прекрасных песен; производится вслух чтение газетных объявлений. Объявления «Нужен человек, для комнат, красивой наружности, высокого роста и с хорошим аттестатом» и тому подобные особенно интересуют слушателей и бывают поводом жарких продолжительных прений, иногда не лишённых интереса и для тех, кто не ищет места в лакеи. Наконец, любезность дворового человека, столь ему свойственная, разыгрывается здесь во всём просторе своём.

Но будет об лестницах. Не прошло пяти минут по уходе кухарки, как дверь тихонько скрипнула и в кухню осторожными шагами вошёл человек несколько измятой, но благонамеренной наружности, вроде тех благородно-бедных существ, которые если и просят милостыню, то не иначе, как по документу, напоминающему красноречием своим лучшие страницы тех произведений, которых расходилось по обширному нашему государству по сороку изданий:

«Преданный вам всеми силами души, благоговееющее перед вами человеческое существо, которое в настоящее время от невыносимых страданий, от смерти политики, похоронив себя заживо, без средства удержать за собою бывшее доброе имя и даже самое право на звание человека... Пав ниц, молит кровавою слезою из гроба отчаяния помочь плачь-доле горького бедовика...»

Несомненные признаки их – семь человек детей (неприменно семь, ни больше ни меньше), мать на одре страдания, язык, несколько запинаящийся при извещении, что третьи сутки (тоже ни больше ни меньше) не было уже маковой росинки во рту, и других уверениях, и чувство собственного достоинства, стоящее тридцать пять копеек, потому что они непременно обидятся подачей меньше гривенника, на что, впрочем, благородство происхождения даёт им полное право. Они очень хорошо знают дорогу к кабаку и могут сказать о себе, что в кабаках их знают.

Впрочем, знают они много и других дорог. Если вздумается, входят в квартиру, и колокольчик у вашей двери, приведённый в движение их рукою, издаёт какой-то особенный, робкий и молящий, звук, как будто у него тоже семь человек детей и мать на одре страдания. Входят, иногда и не позвонив, а просто потрогав сначала ручку не запертой на замок двери, – и тогда входят с особенною осторожностью, и, если не встретят никого в первой комнате, на цыпочках пробираются во вторую, там в третью, – и вздрагивает и бледнеет какой-нибудь задумавшийся или заработавшийся господин, у которого человек ушёл в лавочку купить четвёрку табаку, увидев перед собою как будто с неба упавшую, незнакомую и странную фигуру... Но особенно

любят они навещать наезжающих в столицу художников, фокусников, всяких артистов и артисток – московских и зарубежных, к которым являются обыкновенно с такими письмами:

«Милостивейший государь!

Есть несчастный сирота, обременённый малолетним многочисленным семейством, участь которого заслуживает сострадание всякого, имеющего душу, способную понимать бедствия ближнего. На расцвете лет он потерял добрую, кроткую мать и вслед за тем чадолюбивого отца – оставившего на его попечение семерых малюток. Переноса все страдания с христианским терпением, возвышающим душевное достоинство, он снискивает пропитание как помощью благотворительных лиц, так и самою работою, которая едва даёт возможность поддерживать вверенное ему судьбою семейство. Несчастный этот – податель сего письма. Я же, не имея чести знать вас лично и потому лишаясь права удостоверять преждевременно в истине моего к вам уважения, надеюсь, что вы, как артист, понимающий душу угнетённых судьбою людей, не рассердитесь на меня за то, что я решился доставить вам торжество истинно христианское (крупными буквами): помочь несчастному! Десять, пять или даже рубль серебром пожертвовать семерым для вас ничего не составит, сирот же заставит пролить слёзы благодарности как пред образом Христа-Спасителя, так и перед общим покровом всех – Пресвятой Богородицей.

Я был постоянным свидетелем вашего торжества и, соглашаясь с единодушным отголоском просвещённой публики, повторяю ещё раз (крупнейшими буквами): вы великий артист! О, признаюсь откровенно, душевно благодарил публику за приём, коим она почтила неожиданного дорогого гостя...

Христианское сострадание – не есть ли удел артистов? Помогите несчастному, и новый, спасительный подвиг увековечит ваше пребывание в Петербурге.

С душевным почтением и таковою же преданностью имею честь быть свидетелем вашего торжества» и пр.

Кто им пишет такие письма – бог знает. Но под ними обыкновенно читаешь подпись: генерал такой-то или генеральша такая-то, – каких, разумеется, сроду никто не слыхивал и каких не увидит и во сне даже благонамеренный человек, весь вечер, накануне Нового года, продумавший, как бы кого не забыть завтра поздравить?

Такой-то человек появился в кухне. Впрочем, может статься, что он был и не совсем такой человек, о каких мы говорили, а просто такой, каких в Москве называют «ширяло», а в Петербурге «мазурик», то есть малый, с детских лет пристрастившийся к лёгкому промыслу и голодающий по трое суток, чтоб пополам со страхом и трепетом пропить в каком-нибудь «Полуденном» украденную вещь на четвертые; а может быть, он был просто забулдыга-лакей, два дня пропадавший от барина и чувствующий необходимость пред возвращением к нему хватить для куражу и не имеющий на что хватить, – кто бы он ни был, мы просто будем называть его таинственным незнакомцем.

Итак, по мере того как таинственный незнакомец обозревал кухню и укреплялся в уверенности, что в ней никого нет, лицо его теряло неопределённый оттенок, движения становились резче и самоувереннее... Он смело подошёл к двери, ведущей в спальню, и, приложив ухо к скважине, долго и чутко прислушивался; затем он снял с себя рыжие, подбитые вершковыми гвоздями сапоги и поотворил несколько дверь, причём она предательски скрипнула, что заставило его отшатнуться назад и простоять с минуту в неподвижном оцепенении. Но, удостоверившись, что всё спало по-прежнему, он смело нагнулся вперёд и, просунув голову в отверстие между дверными сторонками, начал обозревать спальню. Нужно полагать, что ему представилось здесь много привлекающих любопытство предметов, потому что, уже не колеблясь долее, он решительно двинул вперёд правую сторонку дверей, переждал, пока скрип, произведённый этим движением, совершенно замолк, – и смело вошёл в спальню. Здесь он

сел на покойные и мягкие кресла, потянулся и начал переодеваться... переодеваться из своего, как легко догадаться, не совсем покойного и красивого платья в платье Петра Ивановича. Нельзя не заметить, что переодевался он с достоинством и спокойствием человека, одевающегося в собственное платье и только несколько поспешающего, из опасения опоздать на службу. Пётр Иванович обладал значительной полнотою, какой в известные лета достигает всякий благомыслящий человек: таинственный же незнакомец был очень тощ, – почему, поправив чуб перед зеркалом, он захватил кстати со стола два подсвечника из накладного серебра, которые для лучшего сбережения счёл нужным завернуть в платье Федосьи Карповны, после чего так их спрятал, что тотчас же стал походить на Петра Ивановича, ибо очутился с преизрядным солидным брюшком. На возвратном пути от кровати, с поручня которой сдёрнуто было платье, незнакомец захватил карманные часы (Пётр Иванович был человек аккуратный и, опасаясь опоздать на службу, клал обыкновенно подле себя часы) с позолоченной цепочкой, надел их на себя и поспешил к другому зеркалу, где, полюбовавшись на себя, опять мимоходом захватил два подсвечника. Запрятав их в карманы, он начал шарить по всем углам и прибирать с неимоверною быстротою все мелкие вещицы, какие попадались под руку...

III

Сон причудлив и странно жесток. Часто после великолепной перспективы всего, чем со временем должна увенчаться благонамеренность, человеку, как бы он ни был добродетелен, вдруг, ни с того ни с другого, что-нибудь такое приснится, чего он никак не может пропустить, не закричав тотчас же, что он в штрафах и под судом не бывал и никаких мыслей, противных правилам нравственности, в душе своей не питал...

Петру Ивановичу вдруг приснилась какая-то девушка в шапке, под которой (не под шапкой, а под девушкой) были подписаны два стиха:

*А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет?*

которые он когда-то слышал, проходя мимо растворенного окна, – откуда валил густыми волнами табачный дым, летели на улицу слова и виднелись весёлые и раскрасневшиеся лица каких-то молодых людей, – и которые у него потом целые три месяца не могли выбиться из головы: писал ли он, рассказывал ли, какую верную игру проиграл в преферанс или какую неверную выиграл, шёл ли в департамент, из департамента, обедал ли – всё они на уме – так вот и шумят, и вертятся, и егозят-егозят в голове, как будто кроме их уже и нечему прийти в голову. И чем больше старался он от них отделаться, тем упорнее они его преследовали. С ними засыпал он, с ними просыпался, нередко отвечал ими на вопрос совсем не об шапках и девушках, беспрестанно шептал их про себя, даже писал верхними зубами на нижних, даже однажды испортил лист гербовой бумаги рублёвого достоинства, включив их совершенно некстати в прошение одной вдовы, приносившей жалобу на какого-то нахлебника-семинариста, похитившего у ней клубок ниток, которые будто бы намотаны были на сторублёвую ассигнацию. Словом, от проклятых двух стихов (бывших, между прочим, причиной ненависти его к стихам вообще) ему уже приходилось тошно жить на свете. Но наконец он от них отделался же, и теперь ничего! – девушка в шапке, да притом и не дурная собой, – весьма и весьма ничего! Худо то, что вслед за нею приснился ему какой-то человек с огромными усами, с решительным выраженьем в лице и в таком непостижимом костюме, какого он не только никогда не видал наяву, но даже потом весьма удивлялся, как подобные костюмы могут сниться порядочным людям во сне.

Испуганный, он поспешил залепетать, что он ничего, человек женатый и в правилах твёрд; что, впрочем, он никаким оружием владеть не умеет, потому что французского блестящего образования с фехтованьями, танцами и всякими модными пустыми затеями, развращающими, ко всеобщему прискорбию, нынешних молодых людей, не получил и даже не жалел о том, ибо, благодаря бога, родился в такой стране, где и без шарканья по паркетам, одною благонамеренностию и честным трудом, даже при посредственном достатке, можно приобрести всеобщее уважение; а что, впрочем, он опять-таки ничего, идёт своей дорогой и просит только не мешать ему идти своей дорогой, так он и пройдёт...

Но вышло, что и странный незнакомец – не беда; напротив, несмотря на невероятные сапоги, он оказался добрейшим малым, предложил сыграть в преферанс и проиграл в одну пулю по копейке восемь рублей серебром, так что Петру Ивановичу даже стало немножко совестно, и только тем мог он себя успокоить, что ведь на то игра, не умеешь играть, не садись, а взялся за гуж, так будь дюж...

Беда в том, что по уходе странного незнакомца, о котором Пётр Иваныч остался такого мнения, что навещал его какой-нибудь путешествующий англичанин-чудак, которому некуда девать денег (об англичанах знал он вообще, что они большие чудаки), – беда в том, что по уходе странного незнакомца Петру Иванычу вдруг приснился весь департамент с шинелями, сторожами, половиками, столами, чернилицами, делами и начальником отделения. Вот начальник отделения приподнялся с каким-то делом, подходит к нему и говорит «перепишите» совершенно таким голосом, как говорится простому писцу. «Хорошо-с; я вот дам Ефимову», – отвечает немного изумившийся Пётр Иваныч, почтительно нагибаясь. «Какому Ефимову? – говорит сурово начальник, – разве вы забыли, что Ефимову отдано ваше место, а вы за неисполнительность и соблазнительный образ поведения переведены на место Ефимова!..»

В ужасе проснулся Пётр Иваныч, открыл глаза и прямо наткнулся ими на таинственного незнакомца, который, нагнувшись, шарил в ящике комода. Приняв его за Ефимова, Пётр Иванович, озадаченный, переполненный справедливым негодованием, в первую минуту не вскрикнул, не кашлянул, даже не шелохнулся, но, по какой-то особенной остроте чутья, таинственный незнакомец тотчас понял, что время прекратить посещение, и со всех ног кинулся вон... Тут только догадался герой наш, в чём дело...

Пяткой в ногу супругу толкнул,
Закричал: «Караул! караул!» —
И, вскочивши с постели в чём был,
За мошенником вслед поспешил,
Пробежал через сени – и вот
Незнакомца настиг у ворот.
Но тот ловко в калитку шмыгнул,
И опять. «Караул! караул!» —
Пётр Иваныч свирепо кричит
И, в калитку ударившись лбом,
За злодеем вприскок бежит,
Потирая ушиб кулаком.
И бежит он быстрее коня,
И босых его ног топотня
Отзывается резко кругом,
Словно брошенный вскользь по реке
Камешек...

IV

Петербургские летние ночи светлее петербургских зимних дней. Было ещё очень рано, но уже совершенно светло; на улице пусто. Только по другую сторону тротуара шёл какой-то парень в шинели, надетой в рукава, из-под которой на целую четверть высывался пестрядинный халат; парень раскачивался во всю ширину тротуара и, увидев бегущих, радостно закричал: «Держи! держи!» – после чего остановился и долго смотрел на них, произнося по временам ободрительные восклицания: «Ишь как улепётывает!», «Молодца! молодца!», «Вот люблю!» – очевидно относившиеся к таинственному незнакомцу, который, говоря охотничьим термином, ежеминутно отседал от преследователя своего дальше и дальше. Между тем крик Петра Ивановича был услышан ещё двумя лицами, которых мы не хотим назвать. Первое, уже давно и таинственным незнакомцем и Петром Ивановичем оставленное позади, отошло несколько вперёд и, наблюдая за бегущими, говорило: «Ишь шельма! ишь шельма! ишь шельма!» Второе флегматически вышло на средину улицы, постояло с минуту в нерешительности, задумчиво понюхало табак и с решимостью принялось переходить другую половину улицы, торопясь поспеть на тротуар так, чтоб угодить прямо на переём таинственному незнакомцу. Второе лицо действительно поспело в пору, но бегущий решительно не обратил на него внимания и только, пробегая мимо с криком «Эхма!», сильно толкнул его в плечо, отчего оно тотчас повалилось на тротуар, к немалому смеху весёлого парня и первого лица, издали наблюдавшего сцену. Через минуту приспел и Пётр Иванович, запнулся за поверженного и тоже упал, но тотчас же вскочил, сгоряча не почувствовав ушиба, и побежал снова. Дважды поражённый приподнялся, взглянул за бегущими и, сказав: «Есть сила», медленно отправился на старое место... Между тем таинственный незнакомец уже достиг конца улицы и повернул... куда? в которую сторону?.. Пётр Иванович не видал, и потому хотя и продолжал бежать, но уже медленно и нерешительно, как человек, потерявший путеводную звезду свою. Вдруг с конца улицы, до которого не достиг ещё Пётр Иванович, показались дрожки, называемые пролётками, то есть такие дрожки, на которые садятся, когда желают сберечь ребра и спину. В дрожках сидел одетый в пальто господин с весёлым лицом, доказывавшим, что преферанс, с которого, очевидно, он возвращался, был для него счастлив: лицо просто сияло. Завидев бежавшую встречу ему странную фигуру, господин в пальто рассмеялся, а потом начал пристально вглядываться в неё, и вдруг на лице его выразилось глубокое изумление. Он как будто не верил глазам своим.

– Здравствуйте, Пётр Иванович! – сказал он несколько иронически, когда дрожки подъехали на довольно близкое расстояние к нашему герою.

Пётр Иванович поднял голову, взглянул и, побледнев как полотно, отвернулся в сторону и побежал шибче.

Но сидевший в дрожках снова повторил: «Здравствуйте, Пётр Иванович!» – и в голосе уже не было прежней благосклонной мягкой иронии, он звучал резко, в нём слышалось приказание, – так что Пётр Иванович увидел себя в необходимости остановиться и поспешно понёс руку к голове, но, убедившись в невозможности снять с неё что-нибудь, ибо на ней не было даже парика, принуждён был ограничиться поклоном. Поклон был такой, какие свидетельствуются только начальникам, из чего и можно с достоверностью заключить, что господин в пальто был его начальник.

– Что это вы... в такую пору... в таком виде... танцуете?..

– Танцую, – мог только проговорить дрожащим голосом дрожащий Пётр Иванович, не привыкший с детских лет противоречить старшим...

Опомнившись, он ничего не слышал уже, кроме стука удалявшихся дрожек и весёлого заливного хохотанья, от которого мороз пробежал у него по жилам...

V

«Клянусь звездой полуночной
И генеральскою звездой,
Клянуся пряжкой беспорочной
И Не безгрешною душой!
Клянусь изрядным капитальцем,
Который в службе я скопил,
И рук усталых каждым пальцем,
Клянуся бочкою чернил!
Клянусь счастьем скоротечным,
Несчастьем в деньгах и в чинах,
Клянусь ремизом бесконечным,
Клянусь десятью в червях, —
Отрёкся я соблазнов света,
Отрёкся я от дев и жён,
И в целом мире нет предмета,
Которым был бы я пленён!..
Давно душа моя спокойна
От страстных бурь, от бурных снов;
Лишь ты любви моей достойна —
И век любить тебя готов!..
Клянусь, любвию порочной
Давно, давно я не пылал
И на свиданье в час полночной
В дезабилье не выбегал...
Кого ещё с тобой мне надо?..
Тобой одной доволен я, —
Моя любовь! моя отрада!
Федосья Карповна моя!..»

Он умолк и, «как юный дуб, низринутый грозой», пал к ногам супруги своей.
Но она была неумолима.

— Не поверю! Уж что ты мне ни толкуй, не поверю! Изменник! человеконенавистник!
чудовище!

И она зарыдала, а потом впала в совершенное отчаяние и била себя в грудь, повторяя:

— Ах я несчастная! несчастная! несчастная!.. До какого сраму дожила я, несчастная!.

— Я, ей-богу-с, ни в чём не виноват, Федосья Карповна!

Он действительно был ни в чём не виноват, что могут подтвердить и читатели. Намерения его были чисты, даже похвальны: он хотел настичь похитителя и отнять у него свои вещи. Федосья Карповна перетолковала всё совершенно иначе. Проснувшись от толчка в ногу и не нашед подле себя супруга, она прежде всего вскричала: «Изменник!» Через минуту, удостоверившись, что и платья на обычном месте не было, — обстоятельство, не оставлявшее ни малейшего сомнения, что изменник ушёл на свидание, — с громким воплем упала она на подушку и воскликнула: «Ах я сирота горемычная!» Потом вскочила и бросилась туда, где вечером оставила платье, но его, как мы знаем, там не было; недолго думая, куда бы оно могло деваться, — ибо женщина в припадке ревности, по уверению опытных людей, лишается всякой способности рассуждать, — она с минуту металась по комнате, но, не нашед ничего, во что бы можно

одеться, кроме оставленной таинственным незнакомцем шинели, накинула её на себя и бросилась вон. Руководимая всё тем же инстинктом ревности, она пустилась по тому направлению, по которому таинственный незнакомец увлёк за собою Петра Ивановича. Пётр Иванович в то время возвращался уже домой, перепуганный, убитый, весь с головы до ног синий от холода и разных ушибов. Встреча их была страшная; было не много сказано, но успела разыгаться трагедия.

Они молчали оба... Грустно, грустно
Она смотрела. Взор её глубокий
Был полон думы. Он моргал бровями
И что-то говорить хотел, казалось,
Она же покачала головой
И палец наложила в знак молчанья
На синие трепещущие губы...
Потом пошли домой всё так же молча,
И было в их молчаньи больше муки
И страшного значенья, чем в рыданиях,
С которыми бросаем горсть земли
На гроб того, кто был нам дорог в жизни,
Кто нас любил, быть может. У ворот
Они кухарку встретили. Кухарка
Смутилась. В ней, быть может, сжалось сердце.
И долго изумлёнными глазами
Она на них смотрела, но ни слова
Они ей не сказали... Да! ни слова...
И молча продолжали путь... и скрылись...

Но как только переступили они порог спальни, Федосья Карповна тотчас повернула ключ в замке, и узнать, что тут происходило в первые минуты, авторы решительно не имели никакой возможности, ибо, к крайнему их сожалению, и самые ставни оставались по-прежнему закрыты, так что нельзя было даже ничего подсмотреть. Впрочем, можно догадываться, что тут происходила драма в пяти или даже в шести актах, с эпилогом, – в какой не дай бог участвовать женатому читателю! Но достоверно известно только, что тщетно уверял Пётр Иванович Федосью Карповну в своей невинности. Какие ни приводил он доказательства, все они обращались на его же голову. Федосья Карповна упорно стояла на том, что её платье и прочие вещи стащил Пётр Иваныч к мерзавке, своей любовнице, а сам очутился на улице без платья потому, что его раздели мазурики, когда он возвращался от мерзавки, своей любовницы, и что, наконец, лохмотья таинственного незнакомца сам же он, Пётр Иваныч, подкинул, купив на рынке, чтоб отвлечь от себя всякое подозрение в случае какой-нибудь неудачи. Как ни нелепо было такое предположение и как ни клялся Пётр Иваныч (а он клялся всем дорогим для него в жизни) – ничто не помогло. Не помогло даже и последнее очень сильное доказательство, что парик оставался дома, а невероятно и ни с чем не сообразно, чтоб нуждающийся в парике человек позабыл надеть его, идучи на свидание любовницей. Ничто не помогло! Таково уже было расположение мыслей Федосьи Карповны. Ревность рвала её душу на части. К тому же и кухарка, обрадовавшись случаю, решительно утверждала, что ни на минуту не выходила и никто к ним не входил и что хоть и слышались ей впросонках из спальни какие-то шаги, но, рассудив, что оттуда некому выходить, кроме барина или барыни, она не сочла нужным встать и посмотреть... Хоть герой наш звался совсем не Макаром, но мы не можем здесь не заметить, что на бедного Макара и шишки валяются!

VI

Вот уже и девять часов, время, в которое, бывало, Пётр Иванович, спокойный и счастливый, хлебнув два-три стакана чайку, поцеловав жену, поцеловав дочь, с портфелем под мышкой, отправлялся, несколько согнувшись, смиренным, никого не оскорбляющим, но и не вовсе чуждым самостоятельности шагком в свой департамент... Но не одевается, не пьёт даже чайку, не целует жены и дочери и не идёт в департамент растерявшийся Пётр Иванович. Мрачно у него на душе; при одной мысли, что надо идти на службу, мороз пробегает у него по коже, от макушки до пяток. Вся жизнь – от сечения и греческих спряжений в детстве, голодания и переписыванья в юности до последнего недавнего распеканья – проходит перед его глазами, – и ничего, кроме смиренномудрия и вечной беспредельной покорности, не видит он в ней; хоть бы слово когда грубое какое сказал, хоть бы недовольную мину выразил на лице – никогда! никогда! Даже покушения на что-нибудь подобное за собой не запомнит! Чист, чист! со всех сторон, как ни поверни, чист! И между тем сердце болезненно съёживается от страха, как будто преступление какое-нибудь совершил человек, как будто начальнику нагрубил! «Что скажет начальник отделения!» – думает Пётр Иванович (несомненно, что господин, ехавший на дрожках, был его начальник отделения). «Что скажет начальник отделения?..» – думает он, большими шагами расхаживая по комнате, и никак не может решить, что скажет начальник отделения, хоть и предчувствует, что он скажет что-то страшное, что-то такое страшное, отчего мало поседеть в один час, отчего мало даже провалиться сквозь землю... И ни убеждение в своей невинности, никакие размышления, никакие доводы ума – ничто не утешает безутешного Петра Ивановича! «Да уж не подать ли мне просто в отставку, – думает он, – так даже и не являться, а просто подать в отставку, и кончено, а куда выйдет отставка, тиснуть в „Полицейской газете“, что вот так и так, дескать, чиновник с одобрительным аттестатом...» Тут он на минуту запнулся... «Ведь уж мне, верно, дадут аттестат одобрительный? – продолжал он с некоторым смущением, – что ж? служил я не хуже других, не хуже других, сударь ты мой, в штрафах и под судом не бывал, зложелателей, благодаря всевышнего, не имею... подал в отставку... ну, что ж? Вышел случай такой, с кем не случается!.. просто случай вышел такой... Так вот оно хорошо было бы публиковать, что вот де чиновник с одобрительными аттестатами, титулярный советник, – я думаю, даже не худо будет выставить: имеющий такие-то и такие-то знаки отличия... Так вот, мол, такой-то и такой-то чиновник, имеющий такие-то и такие-то знаки отличия, хороший чиновник, дескать, благонадёжный чиновник, ищет места управляющего имением, преимущественно в малороссийских губерниях, на выгодных, дескать, для владельца условиях... Да! да! В малороссийских губерниях лучше – климат теплее, да и народ-то попроще... народ-то попроще, вот оно что, главное дело, сударь ты мой, народ-то попроще, вот она штука-то какая! А поди-ка сунься в Костромскую, в Ярославскую... ух! шельма на шельме! Всякий мужик, туда же, грамоте знает и на каждом синий армяк... на каждом, на шельмеце-то, синий армяк, вот оно что, вот она штука-то какая, вот она такая штука-то! Избалованные губернии! Нет, вот бы где-нибудь в малороссийских, примерно в Полтавской; три-четыре тыщонки душ, с мельницами, с фруктовыми садами, со всеми угодами, с господским строением; а барин-то себе где-нибудь за тридевять земель, в Москве, в Петербурге, в Париже... а барин-то себе в Москве, а барин-то в Петербурге, а барин-то себе в Париже, барин-то себе за тридевять земель, как в сказке говорится, как в русской-то сказке сказывается... Ух! раздолье-то! раздолье...» Тут Пётр Иванович потёр руки от удовольствия, потому что уже, в самом деле, почувствовал себя управляющим такого имения, – на что русский человек очень скор... «Да только та беда, – продолжал он, вдруг опомнившись и вновь совершенно опешив, как человек, съевший муху, – да только та беда, что никто не возьмёт, за фамилию никто не возьмёт... Управляющий! уж в одном слове сейчас слышится немец, какой-нибудь Карл Иванович Бризенмей-

стер, или ещё помудрёней, так, чтоб мужик и подумать не смел выговорить как следует, чтобы у него язык поперёк глотки стал. Ведь вот, будь немецкая фамилия, хоть подобие немецкой фамилии будь... а то – Блинов! на вот тебе в самый рот – блинов! горячих блинов! подавись!..» И здесь герой наш в первый раз в жизни пожалел, что у него русская фамилия, чему он сорок лет с лишком постоянно был рад и даже благодарил Бога, что и оканчивается она на *ов*, а не на *ский*. «Да опять и то, – продолжал размышлять наш герой, – осанки такой не имею, осанки, соответствующей званию управителя, не имею, вот она какая беда, вот она беда-то какая надо мной, горемычным, осанки, соответствующей званию, не имею, не имею осанки, званию управителя соответствующей, совсем осанки такой не имею. Наш брат и смотрит-то, как будто всё чего-то боится, и идёт-то, как будто просит прощения у половиков, которые недостойными ногами своими попирает, и в лице такое подобострастие, такое подобострастие, что и сказать нельзя, никак нельзя сказать, неостанет слов, как говорится в хорошем слоге, на языке человеческого... вот оно что! вот оно какое дельце-то! вот оно дельце-то казусное какое! Ну, уж известно: по какой части пойдёшь, с тою и степень значения в лице своём соразмеряешь... степень-то значения с положением своим в свете соразмеряешь... А тут надобно, чтобы орлом глядел человек, чтоб на лице было написано, что ему и чёрт не брат, чтобы действовал смело, решительно, на открытую ногу действовал бы, и умел бы этак с откровенностью, не лишёною благородства, и словцо-то крепкое кстати пригнуть, ну и там что другое... Вот оно что! Чтобы как выйдет да заговорит ломаным своим языком, так чтобы мужик на него и взглянуть не смел, а только бы кланялся в пояс да говорил: „Слушаю, батюшка Карл Иванович!“ Нет, где нашему брату!.. Разве уж заняться хождением по делам...» Но и хождение по делам оказалось неудобным. Думал, думал Пётр Иванович и покончил тем, что, как ни вертись, службу оставить невыгодно, разорительно, словом, неблагоприятно во всех отношениях. Итак, скрепя сердце решился он идти в департамент. Будь что будет! Может, и никакой беды нет, может, ему только так показалось, а в сущности ничего! Наконец, он даже дошёл до заключения, что, может быть, оно даже и хорошо, что начальник его увидел на улице, пожалуй, чем чёрт не шутит, примут участие, вспомоществование единовременное дадут. «Да! да! – повторял Пётр Иванович, – оно в самом деле даже и хорошо», – и между тем чувствовал, что мороз подирает по коже. Три дня употреблено было на залечивание разных ушибов и синих пятен и на утверждение себя в благородной решимости не унывать, помнить, что испытания ниспосылаются нам в плачевной юдоли сей для возвышения душевного мужества и что не нужна бы человеку и бессмертная душа, если б он уничтожался и падал перед несчастьем. На четвёртый день решено было идти на службу. Но здесь на Петра Ивановича напал такой страх, что он буквально не мог сдвинуться с места и несколько часов, совсем готовый, умытый, выбритый, во фраке, с портфелем под мышкой, сидел как прикованный к стулу, бессмысленно смотря на три какие-то головы, державшие компанию у противоположных ворот.

Когда опомнился он, был уже двенадцатый час. «Поздно! – сказал он себе с тайной радостью. – Видно, уже завтра!» – и в ту же минуту схватил шапку, надел шинель, калоши и выбежал на улицу. Бежал он чрезвычайно скоро, ни на что не обращая внимания, даже не заглядывая в окна, хотя и любил заглядывать в окна и знал, что, заглянув в окно, иногда можно увидеть много хорошего.

Бежал он на службу...

VII

В десятом часу того дня, утром которого происходило событие, описанное в четвёртой главе, Степан Фёдорович Фарафонов, пришед в должность, направился прямо к столу, где обыкновенно сидел Пётр Иванович, чтоб расспросить его о ночном приключении и, по долгу службы, порядком распечь его. Но Петра Ивановича, как мы знаем, там не было. Так как воспомина-

ние вчерашнего выигрыша всё ещё держало его в весёлом расположении духа, то, подошед к экзекутору и спросив о здоровье, весьма комически рассказал он ему странную встречу с Петром Ивановичем, особенно распространившись насчёт удивительного танца, в котором упражнялся Пётр Иванович, и насчёт арии, кажется из «Соннамбулы», которою сопровождал он свои живописные па, после чего оба, и рассказчик и слушатель, долго смеялись, пожимая плечами. Степан Фёдорович рассказывал не так тихо, чтоб его никто не мог слышать, кроме экзекутора, а потому история Петра Ивановича сделалась тотчас известною и ещё двум-трём чиновникам. Те, в свою очередь, передали её с надлежащими дополнениями соседям своим, и таким образом случилось, что историю Петра Ивановича в полчаса узнало всё присутственное место, где служил наш герой... К вечеру узнал её и весь город, и несколько дней сряду в Петербурге только и говорили о танцующем чиновнике исполинского роста, с лошадиными копытами вместо обыкновенных человеческих ступней. Нетрудно представить, с каким нетерпением ждали его товарищи, сколько произошло толков и предположений и как выросла, украсилась и изменилась самая история. Но прошёл день, прошло два, прошло три, вот уже наступил и четвёртый, а Петра Ивановича нет как нет. Любопытство возросло до высочайшей степени.

И вот на четвёртый день часу в первом, в минуту всеобщего почтительного молчания, водворившегося по случаю появления самого начальника, который, указывая на дело, толковал что-то с большим жаром Степану Фёдоровичу, внимавшему начальническим речам с почти-тельным наклоном головы, – в такую-то торжественную минуту дверь из прихожей вдруг отворилась и появился герой наш. Как ни сильно было уважение подчинённых к начальнику, но естественное движение одолело и прорвалось на всю комнату глухим сдержанным смехом, – как будто вдруг чихнул табун лошадей. Естественно, что начальник с недовольным видом спросил о причине такого неуместного взрыва. Степан Фёдорович поднял голову, потому что и сам ещё не знал, что бы значила подобная дерзость, но, встретив жалкую фигуру Петра Ивановича, подобно подчинённым своим, не мог удержаться от смеха.

Начальник повторил свой вопрос.

Перетрухнувший Степан Фёдорович почувствовал необходимость оправдаться и оправдать своих подчинённых. Для такой цели он не нашёл ничего лучше, как рассказать в подробности историю Петра Ивановича, и тотчас рассказал её, постаравшись не столько о строгом соблюдении исторической достоверности, сколько о том, чтоб от неё действительно нельзя было не захохотать, – в чём и успел совершенно, ибо, по мере изложения событий, лицо слушателя прояснялось, а когда дошло до описания странного танца, в котором упражнялся Пётр Иванович, и сопровождавших его мотивов из «Лучии», слушатель уже решительно не нашёл в себе сил сохранить строгое выражение почтенной своей наружности и сам засмеялся...

Но смех его, как легко догадаться, был непродолжителен. Приняв строго-решительное выражение, он подошёл к Петру Ивановичу, оцепеневшему у дверей, и сказал медленно, важно, делая ударение на каждом слове:

– А что скажете вы?

Но Пётр Иванович не мог ничего сказать, хотя и заметно было, что он хотел что-то сказать...

Тогда начальник, основательно думая, что к пресечению подобных зол должно принимать меры при самом их зародыше, счёл нужным распространиться и показать Петру Ивановичу всё неприличие его поступка. Он сказал ему, что звание и самые лета не давали ему права на такое дело; что танцевать, конечно, можно, но в приличном месте, и притом имея на себе одежду, принятую в образованных обществах Европы, которая, по образованию, может вообще почтяться первою из всех пяти частей света. Он сказал ему (и, по мере того как он говорил, в голосе его возрастала энергия и наружность более и более одушевлялась), что подобные пассажи простительны только грубым и невежественным дикарям, не знающим употребления огня и одежды, да и те (присовокупил он) прикрывают наготу свою древесными листьями. Наконец,

он сказал ему, что подобный поступок срамит не только того, кем сделан, но даже бросает нехорошую тень на всё звание, что звание чиновника почтенно и не должно быть профанировано,

Что чиновники то же, что воинство
Для отчизны в гражданском кругу,
Посягать на их честь и достоинство
Позволительно разве врагу,
Что у них все занятия важнейшие —
И торги, и финансы, и суд,
И что служат все люди умнейшие
И себя благородно ведут.
Что без них бы невинные плакали,
Наслаждался б свободой злодей,
Что подчас от единой караули
Участь сотни зависит людей,
Что чиновник плохой без амбиции,
Что чиновник не шут, не паяц,
И не след ему без амуниции
Выбегать на какой-нибудь плац.
А уж если есть точно желание
Не служить, а плясать качучу,
Есть на то и приличное звание —
Я удерживать вас не хочу!

Так заключилась речь, имевшая вообще на присутствующих влияние сильное, но действие её на Петра Ивановича было таково, что, может быть, ни в какие времена никакая речь не производила такого действия. Поражённый ею, из всех способностей, отпущенных ему Богом, сохранил он только одну способность шевелить или, точнее, мямлить губами, да и то делалось с величайшим усилием, и вообще в ту минуту герой наш, страшно синий, походил на умирающего, которому есть сказать нечто важное, но у которого уже отнялся язык...

Только очутившись на улице и глубоко втянув в себя струю свежего воздуха, почувствовал он, что ещё жив.

VIII

«Корабль, обуреваемый
Волнами, – жизнь моя!
Судьбою угнетаемый,
В отставку подал я,
Немало тут утрачено —
Убыток – и большой!
А впрочем, предназначено
Уж, видно, так судьбой.
И есть о чём печалиться.
Нашёл чего жалеть!
Смерть ни над кем не сжалится —
Всем должно умереть!
Почётные регалии,
Доходные места,

Награды – и так далее,
Всё прах и суета!
Мы все корпим, стараемся,
Вдаёмся в плутовство,
Хлопочем, унижаемся,
А всё ведь из чего?
Умрём, так всё останется!
На срок пришли мы в свет...
Чем дольше служба тянется,
Тем более сует.
Успел уж я умяться
В житейском мятеже,
Подумать приближается
Пора и о душе!
Уж лучше здесь быть пешкою,
Чем душу погубить...
А впрочем, что ж я мешкаю?
Уж десять хочет бить!
Есть случай к покровительству!
Тотчас же полечу
К его превосходительству
Ивану Кузьмичу —
Поздравлю с именинами...
Решится, может быть,
Под разными причинами
Блохова удалить
И мне с приличным жительством
Его местечко дать...
Не нужно покровительством
В наш век пренебрегать!...»

Господин Прохарчин

В квартире Устиньи Фёдоровны, в уголке самом тёмном и скромном, помещался Семён Иванович Прохарчин, человек уже пожилой, благомыслящий и непьющий. Так как господин Прохарчин, при мелком чине своём, получал жалованья в совершенную меру своих служебных способностей, то Устинья Фёдоровна никаким образом не могла иметь с него более пяти рублей за квартиру помесечно. Говорили иные, что у ней был тут свой особый расчёт; но как бы там ни было, а господин Прохарчин, словно в отместку всем своим злоязычникам, попал даже в её фавориты, разумея это достоинство в значении благородном и честном. Нужно заметить, что Устинья Фёдоровна, весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную склонность к скромной пище и кофею и через силу перемогавшая посты, держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже Семёна Ивановича, но, не быв смиренными и будучи, напротив того, все до единого «злыми надсмешниками» над её бабьим делом и сиротскою беззащитностью, сильно проигрывали в добром её мнении, так что не платили они только денег за свои помещения, так она не только жить пустить, но и видеть-то не захотела бы их у себя на квартире. В фавориты же Семён Иванович попал с того самого времени, как свезли на Волково увлечённого пристрастием к крепким напиткам отставного, или, может быть, гораздо лучше будет сказать, одного исключённого человека. Увлечённый и исключённый хотя и ходил с подбитым, по словам его, за храбрость глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрости сломанную, – но тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем благорасположением, к которому только способна была Устинья Фёдоровна, и, вероятно, долго бы прожил ещё в качестве самого верного её приспешника и приживальщика, если б не опился, наконец, самым глубоким, плачевнейшим образом. Случилось же это всё ещё на Песках, когда Устинья Фёдоровна держала всего только трёх постояльцев, из которых, при переезде на новую квартиру, где образовалось заведение на более обширную ногу и пригласилось около десятка новых жильцов, уцелел всего только один господин Прохарчин.

Сам ли господин Прохарчин имел свои неотъемлемые недостатки, товарищи ль его обладали таковыми же каждый, – но дела с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов Устиньи Фёдоровны жили между собою словно братья родные; некоторые из них вместе служили; все вообще поочерёдно каждое первое число проигрывали друг другу свои жалованья в банчишку, в преферанс и на биксе; любили под весёлый час все вместе гурьбой насладиться, как говорилось у них, шипучими мгновениями жизни; любили иногда тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дело редко обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой компании изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нарушалось нисколько. Из жильцов особенно замечательны были: Марк Иванович, умный и начитанный человек; потом ещё Оплеваниев-жилец; потом ещё Преполовенко-жилец, тоже скромный и хороший человек; потом ещё был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременною целью попасть в высшее общество; наконец, писарь Оксана, в своё время едва не отбивший пальму первенства и фаворитства у Семёна Ивановича; потом ещё другой писарь Судьбин; Кантарев-разночинец; были ещё и другие. Но всем этим людям Семён Иванович был как будто не товарищ. Зла ему, конечно, никто не желал, тем более что все ещё в самом начале умели отдать Прохарчину справедливость и решили словами Марка Ивановича, что он, Прохарчин, человек хороший и смиренный, хотя и не светский, верен, не льстец, имеет, конечно, свои недостатки, но если пострадает когда, то не от чего иного, как от недостатка собственного своего воображения. Мало того: хотя лишённый таким образом собственного своего воображения, господин Прохарчин фигурой своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для себя точки зрения (к чему любят придраться насмешники), но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чём не бывало, причём

Марк Иванович, будучи умным человеком, принял формально защиту Семёна Ивановича и объявил довольно удачно и в прекрасном, цветистом слогe, что Прохарчин человек пожилой и солидный и уже давным-давно оставил за собой свою пору элегий. Итак, если Семён Иванович не умел уживаться с людьми, то единственно потому, что был сам во всём виноват.

Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, скопидомство и скаредность Семёна Ивановича. Это тотчас заметили и приняли в счёт, ибо Семён Иванович никак ни за что и никому не мог одолжить своего чайника на подержание, хотя бы то было на самое малое время; и тем более был несправедлив в этом деле, что сам почти совсем не пил чаю, а пил, когда была надобность, какой-то довольно приятный настой из полевых цветов и некоторых целебного свойства трав, всегда в значительном количестве у него запасённый. Впрочем, он и ел тоже совсем не таким образом, как обыкновенно едят всякие другие жильцы. Никогда, например, он не позволял себе съесть всего обеда, предлагаемого каждодневно Устиньей Фёдоровной его товарищам. Обед стоил полтину; Семён Иванович употреблял только двадцать пять копеек медью и никогда не восходил выше, и потому брал по порциям или одни щи с пирогом, или одну говядину; чаще же всего не ел ни щей, ни говядины, а съедал в меру ситного с луком, с творогом, с огурцом рассольным или с другими приправами, что было несравненно дешевле, и только тогда, когда уже невмочь становилось, обращался опять к своей половине обеда...

Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решился говорить о таких нестоящих, низких и даже щекотливых, скажем более, даже обидных для иного любителя благородного слога подробностях, если б во всех этих подробностях не заключалась одна особенность, одна господствующая черта в характере героя сей повести; ибо господин Прохарчин далеко не был так скуден, как сам иногда уверял, чтоб даже харчей не иметь постоянных и сытных, но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собственно для удовлетворения своих странных прихотей, из скопидомства и излишней осторожности, что, впрочем, гораздо яснее будет видно впоследствии. Но мы остережёмся наскучить читателю описанием всех прихотей Семёна Ивановича и не только пропускаем, например, любопытное и очень смешное для читателя описание всех нарядов его, но даже, если б только не показание самой Устиньи Фёдоровны, навряд ли упомянули бы мы и о том, что Семён Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать своё бельё в стирку или решался, но так редко, что в промежутках можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семёне Ивановиче. В показании же хозяйкином значилось, что «Семён-от Иванович, млад-голубчик, согрей его душеньку, гноил у ней угол два десятка лет, стыда не имея, ибо не только всё время земного жития своего постоянно и с упорством чуждался носков, платков и других подобных предметов, но даже сама Устинья Фёдоровна собственными глазами видела, с помощью ветхости ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть».

Такие толки пошли уже по кончине Семёна Ивановича. Но при жизни своей (и здесь-то был один из главнейших пунктов раздора) он никаким образом не мог потерпеть, несмотря даже на самые приятные отношения товарищества, чтоб кто-нибудь не спросясь совал свой любопытный нос к нему в угол, хотя бы то было даже и с помощью ветхости ширм. Человек был совсем несговорчивый, молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда, бывало, тут же на месте укорит насмешника или советника-выскочку, пристыдит его, и дело с концом. «Ты мальчишка, ты свистун, а не советник, вот как; знай, сударь, свой карман да лучше сосчитай, мальчишка, много ли ниток на твои онучки пошло, вот как!» Семён Иванович был простой человек и всем решительно говорил «ты». Тоже никак не мог он стерпеть, когда кто-нибудь, зная всегдашний норов его, начнёт, бывало, из одного баловства приставать и расспрашивать, что у него лежит в сундучке... У Семёна Ивановича был один сундучок. Сундук этот стоял у него под кроватью и оберегаем был как зеница ока; и хотя все знали, что в нём, кроме старых тряпиц, двух или трёх пар изъевшихся сапогов и вообще всякого случившегося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но

господин Прохарчин ценил это движимое своё весьма высоко, и даже слышали раз, как он, не довольствуясь своим старым, но довольно крепким замком, поговаривал завести другой, какой-то особенный, немецкой работы, с разными затеями и с потайною пружиною. Когда же один раз Зиновий Прокофьевич, увлечённый своим молодоемием, обнаружил весьма неприличную и грубую мысль, что Семён Иванович, вероятно, таит и откладывает в свой сундук, чтоб оставить потомкам, то все, кто тут ни были около, принуждены были в столбняк стать от необыкновенных последствий выходки Зиновья Прокофьевича.

Во-первых, господин Прохарчин на такую обнажённую и грубую мысль даже выражений приличных не мог сразу найти. Долгое время из уст его сыпались слова без всякого смысла, и, наконец, только разобрали, что Семён Иванович, во-первых, корит Зиновья Прокофьяча одним его давно прошедшим скаредным делом; потом распознали, будто Семён Иванович предсказывает, что Зиновий Прокофьяч ни за что не попадёт в высшее общество, а что вот портной, которому он должен за платье, его прийдёт, непременно прийдёт за то, что долго мальчишка не платит, и что, «наконец, ты, мальчишка, – прибавил Семён Иванович, – вишь, там хочешь в гусарские юнкера перейти, так вот не перейдёшь, гриб съешь, а что вот тебя, мальчишку, как начальство узнает про всё, возьмут да в писаря отдадут; вот, мол, как, слышь ты, мальчишка!». Потом Семён Иванович успокоился, но, полежав часов пять, к величайшему и всеобщему изумлению, как будто надумался и вдруг опять, сначала один, а потом обращаясь к Зиновию Прокофьячу, начал его вновь укорять и стыдить. Но тем дело опять не кончилось, и повечеру, когда Марк Иванович и Преполовенко-желез затеяли чай, пригласив к себе в товарищи писаря Океанова, Семён Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, дав свои двадцать или пятнадцать копеек, и под видом того, что захотел вдруг пить чаю, начал весьма пространно входить в материю и изъяснять, что бедный человек всего только бедный человек, а более ничего, а что, бедному человеку, ему копить не из чего. Тут господин Прохарчин даже признался, единственно потому, что вот теперь оно к слову пришлось, что он бедный человек; ещё третьего дня у него, дерзкого человека, занять хотел денег рубль, а что теперь не займёт, чтоб не хвалился мальчишка, что вот, мол, как, а жалованье у меня-де такое, что и корму не купишь; и что, наконец, он, бедный человек, вот такой, как вы его видите, сам каждый месяц своей золовке по пяти рублей в Тверь отсылает, и что не отсылай он в Тверь золовке по пяти рублей в месяц, так умерла бы золовка, а если б умерла бы золовка-нахлебница, то Семён Иванович давно бы себе новую одежду соорудил. . . И так долго и пространно говорил Семён Иванович о бедном человеке, о рублях и золовке, и повторял одно и то же для сильнейшего внушения слушателям, что, наконец, сбился совсем, замолчал и только три дня спустя, когда уже никто и не думал его задирать и все об нём позабыли, прибавил в заключение что-то вроде того, что когда Зиновий Прокофьяч вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку, ногу в войну и наденут ему вместо ноги деревяшку, и придёт Зиновий Прокофьяч и скажет: «Дай, добрый человек, Семён Иванович, хлеба!» – так не даст Семён Иванович хлеба и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича, и что вот, дескать, как, мол; поди-ка ты с ним.

Всё это, как и следовало тому быть, показалось весьма любопытным и вместе с тем страх как забавным. Долго не думая, все хозяйкины жильцы соединились для дальнейших исследований и, собственно из одного любопытства, решились наступить на Семёна Ивановича гурьбою и окончательно. И так как господин Прохарчин в своё последнее время, то есть с самых тех пор, как стал жить в компании, тоже чрезвычайно как полюбил обо всём узнавать, расспрашивать и любопытствовать, что, вероятно, делал для каких-то собственных тайных причин, то сношения обеих враждебных сторон начинались без всяких предварительных приготовлений и без тщетных усилий, но как будто случаем и сами собою. Для начатия сношений у Семёна Ивановича был всегда в запасе свой особый, довольно хитрый, а весьма, впрочем, замысловатый манёвр, частию уже известный читателю: слезет, бывало, с постели своей около того времени, как надо пить чай, и, если увидит, что собрались другие где-нибудь в кучку для состав-

ления напитка, подойдёт к ним как скромный, умный и ласковый человек, даст свои законные двадцать копеек и объявит, что желает участвовать. Тут молодёжь перемигивалась и, таким образом согласясь меж собой на Семёна Ивановича, начинала разговор сначала приличный и чинный. Потом какой-нибудь повострее пускался, как будто ни в чём не бывало, рассказывать про разные новости, и чаще всего о материях лживых и совершенно неправдоподобных.

То, например, что будто бы слышал кто-то сегодня, как его превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их мнению, женатые чиновники «выйдут» посolidнее неженатых и к повышению чином удобнее, ибо смирные и в браке значительно более приобретают способностей; и что потому он, то есть рассказчик, чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей Прокофьевной. То, например, что будто бы неоднократно замечено про разных иных из их братьи, что лишены они всякой светскости и хороших, приятных манер, а следовательно, и не могут нравиться в обществе дамам, и что потому, для искоренения сего злоупотребления, последует немедленно вычет у получающих жалованье и на складочную сумму устроится такой зал, где будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе, признательное сердце и разные приятные манеры. То, наконец, говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны для того, чтоб немедленно сделаться образованными, какой-то экзамен по всем предметам держать и что, таким образом, прибавлял рассказчик, многое выйдет на чистую воду и некоторым господам придётся положить свои карты на стол, — одним словом, рассказывались тысяча таких или тому подобных пренелепейших толков. Для вида все тотчас верили, принимали участие, расспрашивали, на себя смекали, а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать головами и советов повсюду искать, как будто в том смысле, что, дескать, что же им будет делать, если их постигнет? Само собой разумеется, что и тот человек, который был бы гораздо менее добродушен и смирен, чем господин Прохарчин, смешался и запутался бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семён Иванович был чрезвычайно туп и туг на всякую новую, для его разума непривычную мысль и что, получив, например, какую-нибудь новость, всегда принуждён был сначала её как будто переваривать и пережёвывать, толку искать, сбиваться и путаться и, наконец, разве одолевая её, но и тут каким-то совершенно особенным, ему только одному свойственным образом...

Открылись, таким образом, в Семёне Ивановиче вдруг разные любопытные и доселе не подозреваемые свойства... Пошли пересуды и говор, и всё это как было и с прибавлениями дошло, наконец, своим путём в канцелярию. Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчин вдруг, ни с того ни с сего, быв с незапамятных времён почти всё в одном и том же лице, переменял физиономию: лицо стал иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные; стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться и, к довершению всех новых качеств своих, страх как полюбил отыскивать истину. Любовь к истине довёл он, наконец, до того, что рискнул раза два справиться о вероятности ежедневно десятками получаемых им новостей даже у самого Демиды Васильевича, и если мы здесь умалчиваем о последствиях этой выходки Семёна Ивановича, то не от чего иного, как от сердечного сострадания к его репутации. Таким образом, нашли, что он мизантроп и пренебрегает приличиями общества. Нашли потом, что много в нём фантастического, и тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семён Иванович иногда совсем забывается и, сидя на месте с разинутым ртом и с поднятым в воздух пером, как будто застывший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо. Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел и немедленно ставил на нужной бумаге или жиде, или какое-нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведения Семёна Ива-

новича смущала и оскорбляла истинно благородных людей... Наконец, никто уже более не стал сомневаться в фантастическом направлении головы Семёна Ивановича, когда в одно прекрасное утро пронёсся по всей канцелярии слух, что господин Прохарчин испугал даже самого Демида Васильевича, ибо, встретив его в коридоре, был так чуден и странен, что принудил его отступить... Проступок Семёна Ивановича дошёл, наконец, и до него самого. Услышав о нём, он немедленно встал, бережно прошёл между столами и стульями, достиг передней, собственноручно снял шинель, надел, вышел – и исчез на неопределённое время. Оробел ли он, влекло ли его что другое – не знаем, но ни дома, ни в канцелярии на время его не нашлось...

Мы не будем объяснять судьбы Семёна Ивановича прямо фантастическим его направлением; но, однако ж, не можем не заметить читателю, что герой наш – человек несветский, совсем смирный и жил до того самого времени, как попал в компанию, в глухом, непроницаемом уединении, отличался тихостью и даже как будто таинственностью, ибо всё время последнего жития своего на Песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. Оба старые его сожителя жили совершенно так же, как он: оба были тоже как будто таинственны и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами. В патриархальном затишье тянулись один за другим счастливые, дремотные дни и часы, и так как всё вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семён Иванович, ни Устинья Фёдоровна уж и не помнили даже хорошенько, когда их и судьба-то свела. «А не то десять лет, не то уж пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять, – говорила она подчас своим новым жильцам, – как он, голубчик, у меня основался, согрей его душеньку». И потому весьма естественно, что пренеприятно был изумлён непривычный к компании герой нашей повести, когда, ровно год тому назад, очутился он, солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и беспокойной ватаги целого десятка молодых ребят, своих новых сожителей и товарищей.

Исчезновение Семёна Ивановича наделало немалой суматохи в углах. Одно то, что он был фаворит; во-вторых же, паспорт его, бывший под сохранением хозяйки, оказался на ту пору ненароком затерянным. Устинья Фёдоровна взывала, к чему прибегала во всех критических случаях; ровно два дня корила, поносила жильцов; причитала, что загоняли у ней жильца, как цыплёнка, и что сгубили его «всё те же злые надсмешники», а на третий выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы ни стало, живого иль мёртвого. Повечеру пришёл первый писарь Судьбин и объявил, что след отыскался, что видел он беглеца на Толкучем и по другим местам, ходил за ним, близко стоял, но говорить не посмел, а был неподалёку от него и на пожаре, когда загорелся дом в Кривом переулке. Полчаса спустя явились Океанов и Кантарев-разночинец, подтвердили Судьбина слово в слово: тоже недалеко стояли, близко, всего только в десяти шагах от него ходили, но говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семён Иванович с попрошайкой-пьянчужкой. Собрались, наконец, и остальные жильцы и, внимательно выслушав, решили, что Прохарчин должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти, но что они и прежде все знали, что ходит он с попрошайкой-пьянчужкой. Попрошайка-пьянчужка был человек совсем скверный, буйный и льстивый, и по всему было видно, что он как-нибудь там обольстил Семёна Ивановича. Явился он ровно за неделю до исчезновения Семёна Ивановича, вместе с Ремневым-товарищем, приживал малое время в углах, рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Порфирию Григорьевичу, что поместили его, по ходатайству, в одну канцелярию, но что, по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его и отсюда, затем что уничтожилась сама канцелярия, получив изменение; а в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли, сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по причине способности к одному другому, совершенно постороннему делу, – вместе же со всем этим за любовь к правде и, наконец, по козням врагов.

Кончив историю, в продолжение которой господин Зимовейкин неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева, он поочерёдно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не забыв и Авдотью-работницу, назвал их всех благодетелями и объяснил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а чтоб не взыскали добрые люди на его горемычной доле и простоте. Испросив покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал у Устины Фёдоровны ручки, несмотря на скромные уверения её, что рука у ней подлая, не дворянская, а к вечеру обещал всему обществу показать свой талант в одном замечательном характерном танце. Но назавтра же дело его окончилось плачевной развязкой. Иль оттого, что характерный танец оказался уж слишком характерным, иль оттого, что он Устинью Фёдоровну, по словам её, как-то «опозорил и опростоволосил, а ей к тому же сам Ярослав Ильич знаком, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-офицерской женой», – только Зимовейкину пришлось уплывать восвояси. Он ушёл, опять воротился, был опять с бесчестьем изгнан, втёрся потом во внимание и милость Семёна Ивановича, лишил его мимоходом новых рейтуз и, наконец, явился теперь опять в качестве обольстителя Семёна Ивановича.

Лишь только хозяйка узнала, что Семён Иванович был жив и здоров и что паспорта искать теперь нечего, то немедленно оставила горевать и пошла успокоиться. Тем временем кое-кто из жильцов решились сделать торжественный приём беглецу: испортили задвижку и отодвинули ширмы от кровати пропавшего, немножко поизмяли постель, взяли известный сундук, поместили его на кровати в ногах, а на кровать положили золовку, то есть куклу, форму, сделанную из старого хозяйкина платка, чепца и салопы, но только совершенно наподобие золовки, так что можно было совсем обмануться. Кончив работу, стали ждать, с тем чтоб, по прибытии Семёна Ивановича, объявить ему, что пришла из уезда золовка и поместилась у него за ширмами, бедная. Но ждали-ждали, ждали-ждали... Уже, в ожидании, Марк Иванович прометал и проставил полмесячное жалованье Преполовенке и Кантареву – жильцам; уже весь нос покраснел и вспух у Океанова за игрой в носки и в три листика; уже Авдотья-работница почти совсем выпалась и два раза собиралась вставать дрова таскать, печку топить, и весь до нитки промок Зиновий Прокофьевич, поминутно выбегая во двор наведываться о Семёне Ивановиче; но не явилось ещё никого – ни Семёна Ивановича, ни попрошайки-пьянчужки. Наконец все спать легли, оставив на всякий случай золовку за ширмами; и только в четыре часа раздался стук у ворот, но зато такой сильный, что совершенно вознаграждал ожидавших за все тяжкие труды, ими понесённые.

Это был он, он самый, Семён Иванович, господин Прохарчин, но только в таком положении, что все ахнули, и никому и в мысль не пришло о золовке. Пропавший явился без памяти. Его ввели, или, лучше сказать, внёс его на плечах весь измокший и издрогший, оборванный ночной ванька-извозчик. На вопрос хозяйки, где же он так, горемычный, наклюкался, ванька отвечал: «Да не пьян, и маковой не было; это уж тебя заверяю, а верно, так омрак нашёл, или столбняком, как там ни есть, прихватило, или, може, кондрашка ¹²пришиб». Стали рассматривать, для удобства прислонив виноватого к печке, и увидели, что действительно хмелю тут не было, да и кондрашка не трогал, а был другой какой ни есть грех, затем что Семён Иванович и языком не ворочал, а как будто судорогой его какой дёргало, и только хлопал глазами, в недоумении устанавливая то на того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. Стали потом спрашивать ваньку, отколева взял? «Да от каких-то, – отвечал он, – из Коломны, шут их знает, господа не господа, а гулявшие, весёлые господа; так-таки вот такого и сдали; подрались они, что ли, или судорогой какой его передёрнуло, бог знает какого тут было; а господа весёлые, хорошие!» Взяли Семёна Ивановича, приподняли на пару-другую дюжих плеч и снесли на кровать. Когда же Семён Иванович, помещаясь на постель, ощупал собою золовку

¹² Удар (примечание Ф. Достоевского).

и упёр ноги в свой заветный сундук, то вскрикнул благим матом, уселся почти на корячки и, весь дрожа и трепеща, загрёб и заместил сколько мог руками и телом пространства на своей кровати, тогда как трепещущим, но странно-решительным взором окидывая присутствующих, казалось, изъяснял, что скорее умрёт, чем уступит кому-нибудь хоть сотую капельку из бедной своей благодати...

Семён Иванович пролежал дня два или три, плотно обставленный ширмами и отделённый таким образом от всего божьего света и всех напрасных его тревожений. Как следует, назавтра же все о нём позабыли; время летело меж тем своим чередом, часы сменялись часами, день другим. Полусон, полубред налегли на отяжелевшую, горячую голову больного; но он лежал смирно, не стонал и не жаловался; напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели своей, словно как заяц припадает от страха к земле, заслышав охоту. Порой наставала в квартире долгая, тоскливая тишина, – знак, что все жильцы удалялись по должности, и просыпавшийся Семён Иванович мог сколько угодно развлекать тоску свою, прислушиваясь к близкому шороху в кухне, где хлопотала хозяйка, или к мерному отшлёпыванию стоптанных башмаков Авдотьи-работницы по всем комнатам, когда она, охая и кряхтя, прибирала, притирала и приглаживала во всех углах для порядка. Целые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно в кухне с залавка в лохань. Наконец приходили жильцы, поочерёдно или кучками, и Семён Иванович очень удобно мог слышать, как они бранили погоду, хотели есть, как шумели, курили, бранились, дружились, играли в карты и стучали чашками, собираясь пить чай. Семён Иванович машинально делал усилие привстать и присоединиться законным образом для составления напитка, но тут же впадал в усыпление и грезил, что уже давно сидит за чайным столом, участвует и беседует и что Зиновий Прокофьевич успел уже, пользуясь случаем, вклеить в разговор какой-то проект о золовках и о нравственном отношении к ним различных хороших людей. Тут Семён Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могуче-форменная фраза «неоднократно замечено» окончательно осекла все его возражения, и Семён Иванович ничего не мог придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает целковики в своей канцелярии.

Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из законного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог, потом, тут же на лестнице и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели, во сне, решил, пришед домой, немедленно воздать что следует за харчи и постой хозяйке своей, потом закупить кой-чего необходимого и показать кому следует, как будто без намерения и нечаянно, что подвергся вычету, что остаётся ему и всего ничего и что вот и золовке-то послать теперь нечего, причём погоревать тут же о золовке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять ещё повторить мимоходом об её нищете, чтоб не забыли товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места сиденья Семёна Ивановича и в двадцать лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже считает свои рубли серебром и, тряхнув головою, говорит ему: «Денежки-с! Их не будет, и каши не будет-с, – сурово прибавляет он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает: – А у меня, сударь, семеро-с». Тут лысый человечек, тоже, вероятно, нисколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности, показал ровно аршин с вершком от полу и, махнув рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию; затем, с негодованием взглянув на Семёна Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шляпёнку, тряхнул шинелью, поворотил налево и скрылся. Семён Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчёт неприятного стечения

числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что виноват не кто другой, как Семён Иванович.

Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять всё возмездие, опираясь на своё неотъемлемое число семерых и решительно отрицая всякое возможное отношение каких бы то ни было золовок к Семёну Ивановичу. Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмездиями в задних карманах своих кургузых фрачишек; наконец весь народ побежал, загремели пожарные трубы, и целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар, на котором он присутствовал в последний раз вместе с попрошайкой-пьянчужкой. Пьянчужка – иначе господин Зимовейкин – находился уже там, встретил Семёна Ивановича, страшно захопотал, взял его за руку и повёл в самую густую толпу. Так же, как и тогда наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив меж двумя мостами всю набережную Фонтанки, все окрестные улицы и переулки; так же, как и тогда, вынесло Семёна Ивановича вместе с пьянчужкой за какой-то забор, где притиснули их, как в клещах, на огромном дровяном дворе, полном зрителями, собравшимися с улиц, с Толкучего рынка и из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. Семён Иванович видел всё так же и по-тогдашнему чувствовал; в вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он припомнил из них кой-кого.

Один был тот самый, чрезвычайно внушавший всем господин, в сажень ростом и с аршинными усищами, помещавшийся во время пожара за спиной Семёна Ивановича и задававший сзади ему поощрения, когда наш герой, с своей стороны, почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел с своего возвышения. Другой – тот самый дюжий парень, от которого герой наш приобрёл тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем расположился лезть через него, может быть, кого-то спасать. Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным лицом, в ветхом, чем-то подпоясанном, ватном халатишке, отлучившегося было ещё до пожара в лавочку за сухарями и табаком своему жильцу и пробиравшегося теперь, с молочником и с четвёркой в руках, сквозь толпу, до дома, где горели у него жена, дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная, грешная баба, о которой он уже не раз грезил во время болезни своей, – представилась так, как была тогда – в лаптишках, с костылём, с плетёной котомкой за спиной и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, размахивая костылём и руками, о том, что выгнали её откуда-то дети родные и что пропали при сём случае тоже два пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на её языке в непонятной, глубокой бессмыслице, от которой все отступились, после тщетных усилий понять; но баба не унималась, всё кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на пожар, на который занесло её народом с улицы, ни на весь люд людской, около неё бывший, ни на чужое несчастье, ни даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь около стоявший народ. Наконец, господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас, ибо видел ясно, что всё это как будто неспроста теперь делается и что даром ему не пройдёт.

И действительно, тут же недалеко от него взмохнулся на дрова какой-то мужик, в разорванном, ничем не подпоясанном армяке, с опалёнными волосами и бородой, и начал подымать весь божий народ на Семёна Ивановича. Толпа густела-густела, мужик кричал, и, цепенея от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик – тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечнейшим образом, скользя от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по раскалённой плите. Отчаянный господин Прохарчин хотел говорить, кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся разъярённая толпа обвивает его, подобно пёструму змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и – проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол,

горят его ширмы, вся квартира горит, вместе с Устиньей Фёдоровной и со всеми её постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семён Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семёна Ивановича, и уложили в постель. Подобно тому укладывает в свой походный ящик оборванный, небритый и суровый артист-шарманщик своего пульчинеля¹³, набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу чёрту и, наконец, оканчивающего существование своё до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чёртом, с арапами, с Петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником её, капитаном-исправником.

Немедленно все обступили Семёна Ивановича, старый и малый, поместившись рядом вокруг его кровати и устремив на больного полные ожидания лица. Между тем он очнулся, но от совести ль, или иного чего, начал вдруг изо всех сил натягивать на себя одеяло, желая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувственников. Наконец Марк Иванович первый прервал молчание и, как умный человек, начал весьма ласково говорить, что Семёну Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и стыдно, что так делают только дети маленькие, что нужно выздоравливать, а потом и служить. Окончил Марк Иванович шуточкой, сказав, что больным не означен ещё вполне оклад жалованья, и так как он твёрдо знает, что и чины идут весьма небольшие, то, по его разумению, по крайней мере такое звание или состояние не приносит больших, существенных выгод. Одним словом, видно было, что все принимали действительное участие в судьбе Семёна Ивановича и весьма сердобольничали. Но он с непонятною грубостью продолжал лежать на кровати, молчать и упорно всё более и более натягивать на себя одеяло. Марк Иванович, однако, не признал себя побеждённым и, скрепив сердце, сказал опять что-то очень сладенькое Семёну Ивановичу, зная, что так и должно поступать с больным человеком; но Семён Иванович не хотел и почувствовать; напротив, промышал что-то сквозь зубы с самым недоверчивым видом и вдруг начал совершенно неприязненным образом косить исподлобья направо и налево глазами, казалось желая взглядом своим обратить в прах всех сочувственников. Тут уж нечего было останавливаться: Марк Иванович не вытерпел и, видя, что человек просто дал себе слово упорствовать, оскорбясь и рассердившись совсем, объявил напрямки и уже без сладких околичностей, что пора вставать, что лежать на двух боках нечего, что кричать днём и ночью о пожарах, золовках, пьянчужках, замках, сундуках и чёрт знает об чём ещё – глупо, неприлично и оскорбительно для человека, ибо если Семён Иванович спать не желает, так чтобы другим не мешал и чтоб он, наконец, это всё изволил намотать себе на ус.

Речь произвела своё действие, ибо Семён Иванович, немедленно обернувшись к оратору, с твёрдостью объявил, хотя ещё слабым и хриплым голосом, что «ты, мальчишка, молчи! празднословный ты человек, сквернослов ты! слышь, каблук! князь ты, а? понимаешь штуку?». Услышав такое, Марк Иванович вспылil, но, заметив, что действует с больным человеком, великодушно перестал обижаться, а, напротив, попробовал его пристыдить, но осёкся и тут; ибо Семён Иванович сразу заметил, что шутить с собой не позволит, даром что Марк Иванович стихи сочинил. Последовало двухминутное молчание; наконец, опомнившись от своего изумления, Марк Иванович прямо, ясно, весьма красноречиво, хотя не без твёрдости, объявил, что Семён Иванович должен знать, что он меж благородных людей и что, «милостивый государь, должны понимать, как поступают с благородным лицом». Марк Иванович умел при случае красноречиво сказать и любил внушить своим слушателям. С своей стороны, Семён Иванович говорил и поступал, вероятно от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде, и кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то, по мере углубления в неё,

¹³ Пульчинель (итал. pulcinella) – полишинель, паяц, клоун.

каждое слово, казалось, рождало ещё по другому слову, другое слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по четвёртому и т. д., так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набивные слова принимались, наконец, вылетать в самом живописном беспорядке. Вот почему Семён Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный вздор. «Врёшь ты, – отвечал он теперь, – детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму – побираться пойдёшь; ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!»

– Да вы это всё ещё бредите, что ли, Семён Иванович?

– А, слышь, – отвечал Семён Иванович, – бредит дурак, пьянчужка бредит, пёс бредит, а мудрый благоразумному служит. Ты, слышь, дела ты не знаешь, потаскливый ты человек, учёный ты, книга ты писаная! А вот возьмёшь, сгоришь, так не заметишь, как голова отгорит, вот, слышал историю?!

– Да... то есть как же... то есть как же вы это говорите, Семён Иванович, что голова отгорит?..

Марк Иванович и не закончил, ибо все увидели ясно, что Семён Иванович ещё не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в Кривом переулке ономнясь от лысой девки сгорел; что лысая девка там такая была; она свечку зажгла и чулан запалила, а у ней не случится и что в углах будет цело.

– Да ведь, Семён Иванович! – закричал вне себя Зиновий Прокофьевич, перебивая хозяйку. – Семён Иванович, такой вы, сякой, прошедший вы, простой человек, шутки тут, что ли, с вами шутят теперь про вашу золовку или экзамены с танцами? так оно, что ли? Этак вы думаете?

– Ну, слышь ты теперь, – отвечал наш герой, приподымаясь с постели, собрав последние силы, и вконец озлясь на сочувственников, – шут кто? Ты шут, пёс шут, шутовской человек, а шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду; слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!

Тут Семён Иванович хотел ещё что-то сказать, но в бессилии упал на постель. Сочувственники остались в недоумении, все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семён Иванович ногой ступил, и не знали, с чего начать; вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась, и пьянчужка-приятель – иначе господин Зимовейкин – робко просунул голову, осторожно обнюхивая, по своему обычаю, местность. Его точно ждали; все разом замахали ему, чтоб шёл поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, поспешно и в полной готовности протолкался к постели Семёна Ивановича.

Видно было, что Зимовейкин провёл всю ночь в бдении и в каких-то важных трудах. Правая сторона его лица была чем-то заклеена; опухшие веки были влажны от гноившихся глаз; фрак и всё платье было изорвано, причём вся левая сторона одеяния была как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть грязью из какой-нибудь лужи. Под мышкой у него была чья-то скрипка, которую он куда-то нёс продавать. По-видимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чём вся сила, обратился он к накуролесившему Семёну Ивановичу и с видом такого человека, который имеет превосходство и, сверх того, знает штуку, сказал: «Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец, благоразумию послужи! Не то стащу, если куражиться будешь; не куражься!» Такая краткая, но сильная речь удивила присутствующих; ещё более все удивились, когда заметили, что Семён Иванович, услышав всё это и увидав перед собою такое лицо, до того оторопел и пришёл в смущение и робость, что едва-едва и только сквозь зубы, шёпотом, решился пробормотать необходимое возражение: «Ты, несчастный, ступай, – сказал он, – ты, несчастный, вор ты! слышь, понимаешь? туз ты, князь, тузовый ты человек!»

– Нет, брат, – протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя всё присутствие духа, – нехорошо ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчинский ты человек! – продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семёна Ивановича и с удовольствием озираясь кругом. – Ты не куражься! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, всё, братец ты мой, расскажу, понимаешь?

Кажется, Семён Иванович всё разобрал, ибо вздрогнул, когда выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и с совершенно потерянным видом озираться кругом. Довольный эффектом, господин Зимовейкин хотел продолжать, но Марк Иванович тотчас же предупредил его рвение и, выждав время, пока Семён Иванович притих, присмирел и почти совсем успокоился, начал долго и благоразумно внушать беспокойному, что «питать подобные мысли, как у него теперь в голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно; и причина тому та, что Семён Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подаёт». От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семён Иванович был теперь совсем тих и возражал умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братски, осведомляясь, чего он так заробел? Семён Иванович ответил, но иносказательно. Ему возразили; Семён Иванович возразил. Возразили ещё по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все, и старый и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это всё выразить. Спор, наконец, дошёл до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до слёз, и Марк Иванович отошёл, наконец, с пеной бешенства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого гвоздя-человека. Оплевание плюнул, Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а Устинья Фёдоровна завывала совсем, причитая, что «уходит жилец и рехнулся, что умрёт он, млад, без паспорта, не скажется, а она сирота и что её затаскают». Одним словом, все, наконец, увидели ясно, что посев был хорош, что всё, что ни вздумалось сеять, сторицею взошло, что почва была благодатная и что Семёну Ивановичу удалось отработать в их компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер. Все замолчали, ибо если видели, что Семён Иванович от всего заробел, то на этот раз заробели и сами сочувствователи...

– Как! – закричал Марк Иванович. – Да чего ж вы боитесь-то? чего ж вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы мой? Имеете ли право бояться-то? Кто вы? что вы? Нуль, сударь, блин круглый, вот что! Что вы стучите-то? Бабу на улице придавило, так и вас переедет? пьяница какой-нибудь кармана не сберёт, так и вам фалды отрежут? Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а? Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли?

– Ты, ты, ты глуп! – бормотал Семён Иванович. – Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь...

– Каблук, пусть каблук, – кричал Марк Иванович, не вслушавшись, – каблуковый я человек, пожалуй. Да ведь мне не экзамен держать, не жениться, не танцам учиться; подо мной, сударь, место не сломится. Что, батюшка? Так вам и места широкого нет? Пол там под вами провалится, что ли?

– А что? тебя, что ли, спросят? Закроют, и нет.

– Нет. Что закроют? Что там ещё у вас, а?

– А вот пьянчужку ссадили...

– Ссадили; да ведь то же пьянчужка, а вы да я человек!

– Ну, человек. А она стоит, да и нет...

– Нет! Да кто она-то?

– Да она, канцелярия... кан-це-ля-рия!!!

– Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то...

– Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна. Вот, слышал историю...

– Да ведь вам жалованье ж дадут годовое! Фома, Фома вы такой, неверный вы человек! по старшинству в ином месте уважат...

– Жалованье? А я вот проел жалованье, воры придут, деньги возьмут; а у меня золовка, слышь ты? золовка! гвоздырь ты...

– Золовка! человек вы...

– Человек; а я человек, а ты, начитанный, глуп; слышь, гвоздырь, гвоздыревый ты человек, вот что! А я не по шуткам твоим говорю; а оно место такое есть, что возьмёт да и уничтожится место. И Демид, слышь ты, Демид Васильевич говорит, что уничтожается место...

– Ах вы, Демид, Демид! греховодник, да ведь...

– Да, хлоп, да и баста, и будешь без места; поди ты с ним, вот...

– Да вы, наконец, просто врёте или ряхнулись совсем! Вы нам просто скажите; уж что? признайтесь, коль грех такой есть! стыдиться-то нечего! ряхнулся, батюшка, а?

– Ряхнулся! с ума сошёл! – раздалось кругом, и все ломали руки с отчаяния, а Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хозяйка, затем, чтоб он не растерзал как-нибудь Семёна Ивановича.

– Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты! – умолял Зимовейкин. – Сеня, необидчивый ты человек, миловидный, любезный! ты прост, ты добродетельный... слышал? Это от добродетели твоей происходит; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; а вот же добрый человек меня не оставил небось; честь, вишь, делают; вот им и хозяйке спасибо; видишь ты, вот и поклон земной правлю, вот оно, вот; долг, долг исправляю, хозяйюшка! – Тут действительно Зимовейкин и даже с каким-то педантским достоинством исполнил кругом свой поклон до земли.

После того Семён Иванович хотел было опять продолжать говорить, но в этот раз ему уже не дали; все вступились, стали его умолять, заверять, утешать и достигли того, что Семён Иванович даже устыдился совсем и, наконец, слабым голосом попросил объясниться.

– Да вот; оно хорошо, – сказал он, – миловидный я, смирный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь, каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз... пусть оно стоит, место-то; да я ведь бедный; а вот как возьмут его, слышь ты, тузовый, – молчи теперь, понимай, – возьмут да и того... оно, брат, стоит, а потом и не стоит... понимаешь? а я, брат, и с сумочкой, слышь ты?

– Сенька! – завопил в исступлении Зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум. – Вольнодумец ты! Сейчас донесу! Что ты? кто ты? буян, что ли, бараний ты лоб? Буйному, глупому, слышь ты, без абшида¹⁴ с места укажут; ты кто?!

– Да вот оно и того...

– Что того?! Да вот, поди ты с ним!..

– Что поди ты с ним?

– Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь-лежишь, и того...

– Чего?

– Ан и вольнодумец...

– Воль-но-ду-мец! Сенька, ты вольнодумец!!

– Стой! – закричал господин Прохарчин, махнув рукою и прерывая начавшийся крик. – Я не того... Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и несмирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошёл вольнодумец!..

– Да что ж вы? – прогремел, наконец, Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было сел отдохнуть, и подбежав к кровати весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства. – Что ж вы? баран вы! ни кола ни двора. Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..

Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтоб устыдился, что он Наполеон, или трусил взять на себя такую ответственность, – нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дела говорить... Последовал болезненный кризис. Дробные слёзы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнём серых глаз. Костлявыми, исхудалыми от болезни руками

¹⁴ Абшид (нем. abschied) – увольнение.

закрыв он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный, простой человек, что он глупый и тёмный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и бог знает что ещё причитал Семён Иванович. Причитая же, он с диким страхом глядел кругом, как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок упадёт или пол провалится. Всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех умягчились сердца. Хозяйка, рыдая, как баба, и причитая про своё сиротство, сама уложила больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь. Другие, чтоб что-нибудь в свою очередь сделать, предложили малинный настой, говоря, что он немедленно и от всего помогает и что будет очень приятен больному; но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком деле нет лучше доброго приёма какой-нибудь ромашки забористой. Что же касается до Зиновья Прокофьевича, то, имея доброе сердце, он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал Семёна Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный и чтоб его накормили, пустился созидать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большим, женой обладал, детей поразвёл; добро б его там под суд какой ни есть притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком, лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем заботиться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело...

А и не рассудил человек, что и всем тяжело! «Прими он вот только это в расчёт, – говорил потом Океанов, – что вот всем тяжело, так сберёг бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы своё кое-как куда следует». Целый день только и толку было, что о Семёне Ивановиче. Приходили к нему, справлялись о нём, утешали его; но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, жар; впал он в беспамятство, так что чуть было уж не хотели пуститься за доктором; жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать Семёна Ивановича поочерёдно всю ночь, и что случится, то всех будить разом. С этой целью, чтоб не заснуть, засели в картишки, приставив к больному пьянчужку-приятеля, который квартировал весь день в углах, у постели больного, и попросился заночевать. Так как игра велась на мелок и не представляла совсем интереса, то скоро соскучились. Игру бросили, потом о чём-то заспорили, потом начали шуметь и стучать, наконец разошлись по углам, долго ещё в сердцах переключались и переговаривались, и так как вдруг все стали сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули. Скоро в углах стало тихо, как в пустом погребе, тем более что был холод ужаснейший. Из последних заснувших был Океанов, «и не то, – как говорил он потом, – во сне, не то было оно наяву, но привиделось мне, что близ меня, этак перед самым утренним часом, разговаривали два человека».

Океанов рассказывал, что он узнал Зимовейкина и что Зимовейкин стал возле него будить старого друга Ремнева, что они долго шёпотом говорили; потом Зимовейкин вышел, и слышно было, как он пытался отпереть в кухне дверь ключом. Ключ же, уверяла потом хозяйка, лежал у неё под подушками и пропал в эту ночь. Наконец, показывал Океанов, слышалось ему, как будто оба они пошли к больному за ширмы и засветили там свечку. Более, говорит, ничего не знаю, глаза завело; а проснулся потом вместе со всеми, когда все, кто ни были в углах, разом повскачали с постелей, затем что за ширмами раздался такой крик, что встрепенул бы мёртвый, – и тут многим показалось, что вдруг там же свечка потухла. Поднялась суматоха; у всех сердце упало; бросились как ни попало на крик, но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. Вздуги огонь и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин и Ремнев, что оба друг друга корят и ругают; а как осветили их, то один закричал: «Не я, а разбойник!» –

а другой, именно Зимовейкин, закричал: «Не трожь, неповинен; сейчас присягну!» На обоих образа не было человеческого; но в первую минуту не до них было дело: больного не оказалось на прежнем месте за ширмами. Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что господин Прохарчин лежит под кроватью, должно быть в совершенном беспамятстве, стащив на себя и одеяло и подушку, так что на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк (простыни же на нём никогда не бывало). Вытащили Семёна Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много хлопотать было нечего, что капут совершенный; руки его костенеют, а сам еле держится. Стали над ним: он всё ещё помаленьку дрожал и трепетал всем телом, что-то силился сделать руками, языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как, говорят, моргает вся ещё тёплая, залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от палачова топора.

Наконец всё стало тише и тише; замерли и предсмертный трепет и судороги; господин Прохарчин протянул ноги и отправился по своим добрым делам и грехам. Испугался ли Семён Иванович чего, сон ли ему приснился такой, как потом Ремнев уверял, или был другой какой грех – неизвестно; дело только в том, что хотя бы теперь сам экзекутор явился в квартире и лично за вольнодумство, буянство и пьянство объявил бы абшид Семёну Ивановичу, если б даже теперь в другую дверь вошла какая ни есть попрошайка-салоппница, под титулом золовки Семёна Ивановича, если б даже Семён Иванович тотчас получил двести рублей награждения или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова на Семёне Ивановиче, он, может быть, и пальцем не удостоил бы пошевелить теперь при подобных известиях. Покамест сошёл первый столбняк, покамест присутствующие обрели дар слова и бросились в суматоху, предположения, сомнения и крики, покамест Устинья Фёдоровна тащила из-под кровати сундук, обшаривала впопыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах Семёна Ивановича, покамест принимали в допрос Ремнева с Зимовейкиным, жилец Океанов, бывший доселе самый недалёкий, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрёл всё присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок ускользнул из квартиры. И когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, дверь отворилась, и внезапно, как снег на голову, появились сперва один господин благородной наружности с строгим, но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичом его причет и все кто следует и сзади всех – смущённый господин Океанов.

Господин строгий, но благородной наружности подошёл прямо к Семёну Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вскинул плечами и объявил весьма известное, именно, что покойник уже умер, прибавив только от себя, что то же со сна случилось на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который тоже взял да и умер. Тут господин с благородной, но недовольной осанкой отошёл от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, и вышел. Тотчас же заместил его Ярослав Ильич (причём Ремнева и Зимовейкина сдали кому следует на руки), расспросил кой-кого, ловко овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскрывать, поставил сапоги на прежнее место, заметив, что они все в дырках и совсем не годятся, потребовал назад подушку, подозвал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашёлся в кармане пьянчужки-приятеля, и торжественно, при ком следует, вскрыл добро Семёна Ивановича. Всё было налицо: две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц, старые подошвы и сапожные голенища, – одним словом, шильцо, мыльцо, белое белильцо, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой пахло залавком; хорош был один только немецкий замок. Позвали Океанова, сурово переговорили с ним; но Океанов был готов под присягу идти. Потребовали подушку, осмотрели её: она была только грязна, но во всех других отношениях совершенно походила на подушку. Принялись за тюфяк, хотели было его приподнять, остановились было немножко подумать, но вдруг, совсем неожиданно, что-то тяжёлое, звонкое хлопнулось об пол. Нагнулись, обшарили и увидели свёрток бумажный, а в свёртке с десятков целковиков. «Э-ге-ге-ге!» – сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке

одно худое место, из которого торчали волосья и хлопья. Осмотрели худое место и уверились, что оно сейчас только сделано ножом, а было в пол-аршина длиною; засунули руку в изъяз и вытащили, вероятно, впопыхах брошенный там хозяйский кухонный нож, которым взрезан был тюфяк. Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъязненного места и опять сказать «э-ге-ге!» – как тотчас же выпал другой свёрток, а за ним поодиночке выкатились два полтинника, один четвертак, потом какая-то мелочь и один старинный здоровенный пятак. Всё это тотчас же переловили руками. Тут увидели, что недурно бы было вспороть совсем тюфяк ножницами. Потребовали ножницы...

Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировалось у кровати в самых живописных костюмах, все неприглаженные, небритые, немые, заспанные, так, как были, отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у других на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала, других жар. Хозяйка, совсем оглупевшая, тихо стояла, сложив руки и ожидая милостей Ярослава Ильича. Сверху, с печки, с испуганным любопытством глядели головы Авдотьи-работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки; кругом были разбросаны изорванные и разбитые ширмы; раскрытый сундук показывал свою неблагородную внутренность; валялись одеяло и подушка, покрытые хлопьями из тюфяка, и, наконец, на деревянном трёхном столе заблестала постепенно возраставшая куча серебра и всяких монет. Один только Семён Иванович сохранил вполне своё хладнокровие, смирно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчувствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпеливо тряхнул тюфяк, чтоб удобнее высвободить его из-под спины обладателя, то Семён Иванович, зная учтивость, сначала уступил немножко места, скатившись на бочок, спиной к искателям; потом, при втором толчке, поместился ничком, наконец ещё уступил, и так как недоставало последней боковой доски в кровати, то вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие сверху, как два сучка обгоревшего дерева.

Так как господин Прохарчин уже второй раз в это утро наведывался под свою кровать, то немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из жильцов, под предводительством Зиновия Прокофьевича, полезли туда же с намерением посмотреть, не скрыто ли и там кой-чего. Но искатели только напрасно перестукались лбами, и так как Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них и велел немедленно освободить Семёна Ивановича из скверного места, то двое из благоразумнейших взяли каждый в обе руки по ноге, вытащили неожиданного капиталиста на свет божий и положили его поперёк кровати. Между тем волосья и хлопья летели кругом, серебряная куча росла – и боже! чего, чего не было тут... Благородные целковики, солидные, крепкие полторарублёвики, хорошенькая монета полтинник, плебеи-четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, старушечья мелюзга, гривенники и пятаки серебром – все в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один наполеондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая монетка... Некоторые из рублёвиков относились тоже к глубокой древности; истёртые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские монеты, екатерининские; были, например, теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтынички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истёртые, но с законным количеством точек; даже медь была, но вся уже зелёная, ржавая... Нашли одну красную бумажку – но более не было.

Наконец, когда кончилась вся анатомия и, неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и смекнуть прямо на миллион – такая была огромная куча! Но миллиона не было, хотя и вышла, впрочем, сумма чрезвычайно значительная, – ровно две тысячи четыреста девяносто семь рублей с полтиною, так что если бы осуществилась вчера подписка у Зиновия Прокофьевича, то, может быть, было бы всего ровно

две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. Денежки забрали, к сундуку покойного приложили печать, хозяйкины жалобы выслушали и указали ей, когда и куда следует представить свидетельство насчёт долгишка покойного. С кого следовало взяли подписку; заикнулись было тут о золовке; но, уверившись, что золовка была в некотором смысле миф, то есть произведение недостаточности воображения Семёна Ивановича, в чём, по справкам, не раз упрекали покойного, – то тут же идею оставили как бесполезную, вредную и в ущерб доброго имени его, господина Прохарчина, относящуюся; тем дело и кончилось. Когда же первый страх пропал, когда схватились за ум и узнали, что был такое покойник, то присмирели, притихнули все и стали как-то с недоверчивостью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли чрезвычайно близко к сердцу поступок Семёна Ивановича и даже как будто обиделись... Такой капитал! Этак натаскал человек! Марк Иванович, не теряя присутствия духа, пустился было объяснять, почему так вдруг заробелось Семёну Ивановичу; но его уж не слушали. Зиновий Прокофьевич что-то был очень задумчив, Океанов подпил немножко, остальные как-то прижались, а маленький человечек Кантарев, отличавшийся воробыным носом, к вечеру съехал с квартиры, весьма тщательно заклеив и завязав все свои сундучки, узелки и холодно объясняя любопытствующим, что время тяжёлое, а что приходится здесь не по карману платить. Хозяйка же без умолку выла и причитая, и кляня Семёна Ивановича за то, что он обидел её сиротство. Осведомились у Марка Ивановича, зачем же это покойник свои деньги в ломбард не носил?

– Прост, матушка, был; воображения на то не хватило, – отвечал Марк Иванович.

– Ну да и вы просты, матушка, – включал Океанов, – двадцать лет крепился у вас человек, с одного щелчка покачулся, а у вас щи варились, некогда было!.. Э-эх, матушка!..

– Ох, уж ты мне млад-млад! – продолжала хозяйка. – Да что ломбард! принеси-ка он мне свою горсточку да скажи мне: возьми, млад-Устиныюшка, вот тебе благостыня, а держи ты молодого меня на своих харчах, поколе мать сыра земля меня носит, – то вот тебе образ, кормила б его, поила б его, ходила б за ним. Ах, греховодник, обманщик такой! Обманул, надул сироту!..

Приблизились снова к постели Семёна Ивановича. Теперь он лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и единственном своём одеянии, запрытав окостенелый подбородок за галстук, который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь выбритый, затем что бритвы в углах не нашлось: единственная, принадлежавшая Зиновию Прокофьевичу, иззубрилась ещё прошлого года и выгодно была продана на Толкучем; другие ж ходили в цирюльню. Беспорядок всё ещё не успели прибрать. Разбитые ширмы лежали по-прежнему и обнажая уединение Семёна Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек. Начинка из тюфяка, тоже не прибранная, густыми кучами лежала кругом. Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разорённым гнездом «домовитой» ласточки: всё разбито и истерзано бурей, убиты птенчики с матерью и развеяна кругом их тёплая постелька из пуха, пёрышек, хлопок... Впрочем, Семён Иванович смотрел скорее как старый самолюбец и вор-воробей. Он теперь притихнул, казалось, совсем притаился, как будто и не он виноват, как будто не он пукался на штуки, чтоб надуть и провести всех добрых людей, без стыда и без совести, неприличнейшим образом. Он теперь уж не слушал рыданий и плача осиротевшей и разобиженной хозяйки своей. Напротив, как опытный, тёртый капиталист, который и в гробу не желал бы потерять минуты в бездействии, казалось, весь был предан каким-то спекулятивным расчётам. В лице его появилась какая-то глубокая дума, а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого никак нельзя было бы подозревать при жизни принадлежностью Семёна Ивановича. Он как будто бы поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски прищурен; казалось, Семён Иванович хотел что-то сказать, что-то сообщить весьма нужное, объясниться, да и не теряя времени, а поскорее, затем, что дела навязались, а некогда было... И как будто бы слышалось: «Что, дескать, ты? перестань, слышь ты, баба ты глупая! не хнычь! ты, мать, про-

спись, слышь ты! Я, дескать, умер; теперь уж не нужно; что, заправду! Хорошо лежать-то... Я, то есть, слышь, и не про то говорю; ты, баба, туз, тузовая ты, понимай; оно вот умер теперь; а ну, как этак того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, а ну как этак того, и не умер – слышь ты, встану, так что-то будет, а?»

Роман в девяти письмах

I

(От Петра Ивановича к Ивану Петровичу)

Милостивый государь и драгоценнейший друг,
Иван Петрович!

Вот уже третий день, как я, можно сказать, гоняюсь за вами, драгоценнейший друг мой, имея переговорить о наинужнейшем деле, и нигде не встречаю вас. Жена моя вчера, в бытность нашу у Семёна Алексеича, весьма кстати подшутила над вами, говоря, что вас с Татьяной Петровной вышла парочка непоседов. Трёх месяцев нет, как женаты, а уже неглижируете домашними своими пенатами. Мы все много смеялись, – от полноты искреннего расположения нашего к вам, разумеется, – но, кроме шуток, бесценнейший мой, задали вы мне хлопот. Говорит мне Семён Алексеич, что не в клубе ли вы Соединённого общества на бале? Оставляю жену у супруги Семёна Алексеича, сам же лечу в Соединённое общество. Смех и горе! представьте моё положение: я на бал – и один, без жены! Иван Андреич, встретившийся со мною в швейцарской, увидев меня одного, немедленно заключил (злодей!) о необыкновенной страсти моей к танцевальным собраниям и, подхватив меня под руку, хотел было уже насильно тащить в танцкласс, говоря, что в Соединённом обществе тесно ему, развернуться негде молодецкой душе и что от пачули с резедой у него голова разболелась. Не нахожу ни вас, ни Татьяны Петровны. Иван Андреич уверяет и божится, что вы непременно на «Горе от ума» в Александринском театре.

Лечу в Александринский театр: нет и там. Сегодня утром думал вас найти у Чистоганова – не тут-то было.

Чистоганов шлёт к Перепалкиным – то же самое. Одним словом, измучился совершенно; судите, как я хлопотал! Теперь пишу к вам (нечего делать!). Дело-то моё отнюдь не литературное (вы меня понимаете); лучше бы с глазу на глаз, крайне нужно объясниться с вами, и как можно скорее, и потому прошу ко мне сегодня на чай и на вечернюю беседу вместе с Татьяной Петровной. Моя Анна Михайловна будет крайне обрадована посещением вашим. Истинно, как говорится, по гроб одолжите.

Кстати, бесценнейший друг мой, – коли дело дошло до пера, то всё в строку, – нахожусь вынужденным теперь же попенять вам отчасти и даже укорить вас, почтеннейший друг мой, в одной, по-видимому, весьма невинной проделочке, которою вы зло надо мной подшутили... злодей вы, бессовестный человек! Около половины прошедшего месяца вводите вы в дом мой одного знакомого вашего, именно Евгения Николаича, ассюрируете его дружеской и для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей; я радуюсь случаю, принимаю молодого человека с распростёртыми объятиями и вместе с тем кладу голову в петлю. Петля не петля, а вышла, что называется, штука хорошая. Объяснять теперь некогда, да на пере и неловко, а только нижайшая просьба до вас, злорадственный друг и приятель, нельзя ли каким-нибудь образом, поделикатнее, в скобках, на ушко, втихомолочку, пошептать вашему молодому человеку, что есть в столице много домов, кроме нашего. Мочи нет, батюшка! Падам до ног, как говорит приятель наш Симоневич. Свидимся, я вам всё расскажу. Не в том смысле говорю, что молодой человек не взял, например, на фасоне или душевными качествами или в чём-нибудь там другом оплошал. Напротив, он даже малый любезный и милый; но вот погодите, увидимся; а между тем, если встретите его, то шепните ему, ради бога, почтеннейший. Я бы и сам это сделал, но вы знаете, характер такой: не могу, да и только. Вы же рекомендо-

вали его. Впрочем, вечером, во всяком случае, подробнее объяснимся. А теперь до свидания. Остаюсь и проч.

Р. S. Маленький у меня уже с неделю прихварывает, и с каждым днём всё хуже и хуже. Страдает зубёнками; вырезаются. Жена всё нянчится с ним и грустит, бедняжка. Приезжайте. Истинно обрадуете нас, драгоценнейший друг мой.

II

(От Ивана Петровича к Петру Ивановичу)

Милостивый государь,

Пётр Иванович!

Получаю вчера письмо ваше, читаю и недоумеваю. Ищите меня бог знает в каких местах, а я просто был дома. До десяти часов ожидал Ивана Ивановича Толоконова. Тотчас же беру жену, нанимаю извозчика, трачусь и являюсь к вам временем около половины седьмого. Вас дома нет, а встречает нас ваша супруга. Жду вас до половины одиннадцатого; долее невозможно. Беру жену, трачусь, нанимаю извозчика, завожу её домой, а сам отправляюсь к Перепалкиным, думая, не встречу ли там, но опять ошибаюсь в расчётах. Приезжаю домой, не сплю всю ночь, беспокоюсь, утром заезжаю к вам три раза, в девять, в десять и в одиннадцать часов, три раза трачусь, нанимаю извозчиков, и опять вы меня оставляете с носом.

Читая же ваше письмо, удивлялся. Пишете о Евгении Николаиче, просите шепнуть и не упоминаете почему. Хвалю осторожность, но бумага бумаге рознь, а я нужных бумаг на папилотки жене не даю. Недоумеваю, наконец, в каком смысле изволили мне это всё написать. Впрочем, если на то пошло, то чего же меня-то мешать в это дело? Я носа своего не сую во всякую всячину. Отказать могли сами, вижу только, что объясниться нужно мне с вами короче, решительнее, да к тому же и время проходит. А я стеснён и не знаю, что делать придётся, коли неглижировать условиями будете. Дорога на носу, дорога чего-нибудь стоит, а тут ещё жена хнычет: шей ей бархатный капот по модному вкусу. Насчёт же Евгения Николаича спешу вам заметить: навёл я вчера, не теряя времени, окончательно справки, в бытность мою у Павла Семёныча Перепалкина. У него своих пятьсот душ в Ярославской губернии, да от бабушки есть надежда получить в триста душ подмосковную. Денег же сколько, не знаю, а я думаю, что вам это лучше знать. Окончательно прошу вас назначить мне место свидания. Встретили вчера Ивана Андреича и пишете, что объявил он вам, что я в Александрыньском театре с женою. Я же пишу, что он врёт, и тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах, что он, не далее как третьего дня, провёл свою бабушку на осьмистах рублях ассигнациями. Затем имею честь пребыть.

Р. S. Жена моя забеременела; к тому же она пуглива и чувствует подчас меланхолию. В театральные же представления иногда вводят пальбу и искусственно машинами сделанный гром. И потому, боясь испугать жену, в театры её не вожу. Сам же до театральных представлений охоты большой не имею.

III

(От Петра Ивановича к Ивану Петровичу)

Бесценнейший друг мой,

Иван Петрович!

Виноват, виноват и тысячу раз виноват, но спешу оправдаться. Вчера в шестом часу, и как раз в то самое время, как мы с истинным участием сердца о вас вспоминали, прискакал нарочный от дядюшки Степана Алексеича с известием, что с тётушкой худо. Боясь перепугать жену, не говоря ей ни слова, претекстую постороннее нужное дело и еду в дом тётушки.

Нахожу её едва живу. Ровно в пять часов последовал с нею удар, уже третий в два года. Карл Фёдорыч, медик их дома, объявил, что, может быть, она не проживёт и ночи одной. Судите о моём положении, драгоценнейший друг мой. Целую ночь на ногах, в хлопотах и горе! Утром только, истощив свои силы и удручённый телесною и душевною немощью, прилёг я у них же на диване, забыл сказать, чтобы вовремя меня разбудили, и проснулся в половине двенадцатого. Тётушке лучше. Еду к жене; она, бедная, истерзалась, ожидая меня. Перехватил кусок кой-чего, обнял малютку, разуверил жену и отправился к вам. Вас нет дома. Нахожу же у вас Евгения Николаича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь к вам пишу. Не ропщите и не сердитесь на меня, искренний друг мой. Бейте, рубите голову повинную с плеч, но не лишайте благорасположения вашего. От вашей супруги узнал, что вечером вы у Славяновых. Буду там непременно. С величайшим нетерпением ожидаю вас.

Теперь же остаюсь и т. д.

Р. S. Маленький наш повергает нас в истинное отчаяние. Карл Фёдорыч прописал ему ревеньку. Стонет, вчера не узнавал никого. Сегодня же стал узнавать и лепечет всё – папа, мама, бу... Жена в слезах целое утро.

IV

(От Ивана Петровича к Петру Ивановичу)

Милостивый государь мой, Пётр Иванович!

Пишу к вам у вас, в вашей комнате, на вашем бюро; а прежде чем взялся за перо, прождал вас с лишком два часа с половиною. Теперь позвольте же вам прямо сказать, Пётр Иванович, моё открытое мнение насчёт всего этого скаредного обстоятельства. Из вашего последнего письма заключаю, что вас ждут у Славяновых, зовёте меня туда, являюсь, сижу пять часов, а вас не бывало. Что ж, я людей смешить, что ли, по-вашему, должен? Позвольте, милостивый государь... Являюсь к вам утром, надеюсь застать вас и не подражая таким манером некоторым обманчивым лицам, которые ищут людей бог знает по каким местам, когда их можно застать дома во всякое прилично выбранное время. Дома и духа вашего не было. Не знаю, что удерживает меня теперь высказать вам всю резкую правду. Скажу только то, что вижу вас, кажется, на попятном дворе относительно наших известных условий. И теперь только, соображая всё дело, не могу не признаться, что решительно удивляюсь хитростному вашего ума направлению. Ясно вижу теперь, что неблагоприятное намерение своё питали вы с давних пор. Доказательством же такому моему предположению служит то, что вы ещё на прошлой неделе, почти непозволительным образом, овладели тем письмом вашим, на имя моё адресованным, в котором сами изложили, хотя и довольно темно и нескладно, условия наши насчёт весьма известного вам обстоятельства. Бойтесь документов, их уничтожаете, а меня в дураках оставляете. Но я в дураках себя считать не позволю, ибо за такового меня доселе никто не считал, и все насчёт этого обстоятельства обо мне с хорошей стороны относились. Открываю глаза. Сбиваете меня с толку, туманите меня Евгением Николаичем, и когда я, с неразгаданным мною доселе письмом вашим от седьмого сего месяца, ищу объясниться с вами, вы назначаете мне ложные свидания, а сами скрываетесь. Не думаете ли вы, милостивый государь, что я всего этого заметить не в силах? Обещаете вознаградить меня за весьма хорошо вам известные услуги относительно рекомендации разных лиц, а между тем, и неизвестно каким образом, устраиваете так, что сами у меня деньги берёте без расписки знатными суммами, что было не далее как на прошлой неделе. Теперь же, взяв деньги, скрываетесь, да ещё отрекаетесь от услуги моей, вам оказанной относительно Евгения Николаича. Рассчитываете, может быть, на скорый отъезд мой в Симбирск и думаете, что не успеем концов свести с вами. Но объявляю вам торжественно и свидетельствуясь при том честным словом моим, что если пойдёт на то, то я нарочно готов буду ещё

целых два месяца прожить в Петербурге, а дела своего добыю, цели достигну и вас отыщу. И мы умеем подчас действовать в пику. В заключение же объявляю вам, что если вы сегодня же не объяснитесь со мною удовлетворительно, сперва на письме, а потом личным образом, с глазу на глаз, и не изложите в вашем письме вновь всех главных условий, существовавших между нами, и не объясните окончательно мыслей ваших насчёт Евгения Николаича, то я принуждён буду прибегнуть к мерам, вам весьма неблагоприятным и даже самому мне противным.

Позвольте пребыть и т. д.

V

(От Петра Ивановича к Ивану Петровичу)

Ноября 11-го.

Любезнейший, почтеннейший друг мой,

Иван Петрович!

До глубины души моей я был огорчён письмом вашим. И не совестно было вам, дорогой, но несправедливый друг мой, так поступать с лучшим доброжелателем вашим. Поторопиться, не объяснить всего дела и, наконец, оскорбить меня такими обидными подозрениями?! Но спешу отвечать на обвинения ваши. Не застали вы меня, Иван Петрович, вчера потому, что я вдруг и совсем неожиданно позван был к одру умирающей. Тётушка Евфимия Николавна представилась вчера вечером, в одиннадцать часов пополудни. Общим голосом родственников избран я был распорядителем всей плачевной и горестной церемонии. Дел было столько, что я и поутру сегодня не успел увидеться с вами, ниже уведомить хоть строчкой письма. Скорбею душевно о недоразумении, вышедшем между нами. Слова мои о Евгении Николаевиче, высказанные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в совершенно противную сторону, а делу всему дали глубоко обижающий меня смысл. Упоминаете о деньгах и выказываете о них своё беспокойство. Но, не обинуясь, готов удовлетворить всем вашим желаниям и требованиям, хотя здесь, мимоходом, и не могу не напомнить вам, что деньги, триста пятьдесят рублей серебром, взяты мною у вас на прошлой неделе на известных условиях, а не заимообразно. В последнем же случае непременно бы существовала расписка. Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов, изложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение, вижу в этом вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодущие и открытый характер ваш не позволят оставаться сомнению в сердце вашем и что наконец вы же сами протянете первый мне руку вашу. Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись!

Несмотря на то что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый, и сегодня же, готов бы был к вам явиться с повинною, но я нахожусь в таких хлопотах с самого вчерашнего дня, что убит теперь совершенно и едва стою на ногах. К довершению бедствий моих жена слегла в постель; боюсь серьёзной болезни. Что же касается до маленького, то ему, слава богу, получше. Но бросаю перо... дела зовут, а их целая куча.

Позвольте, бесценнейший друг мой, пребыть и проч.

VI

(От Ивана Петровича к Петру Ивановичу)

Ноября 14-го.

Милостивый мой государь, Пётр Иванович!

Я выждал три дня; употребить постарался их с пользою, — между тем, чувствуя, что вежливость и приличие суть первые украшения всякого человека, с самого последнего письма моего, от десятого числа сего месяца, не напоминал вам о себе ни словом, ни делом, частью для того, чтобы дать вам исполнить безмятежно христианский долг относительно тётушки вашей,

частью же потому, что для некоторых соображений и изысканий по известному делу имел во времени надобность. Теперь же спешу с вами окончательным и решительным образом объясниться.

Признаюсь вам откровенно, что при чтении первых двух писем ваших я серьёзно думал, что вы не понимаете, чего я хочу; вот по какому случаю наиболее искал я свидания с вами и объяснения с глазу на глаз, боялся пера и обвинял себя в неясности способа выражения мыслей моих на бумаге. Известно вам, что воспитания и манеров хороших я не имею и пустозвонного щегольства я чуждаюсь, потому что по горькому опыту познал наконец, сколь обманчива иногда бывает наружность и что под цветами иногда таится змея. Но вы меня понимали; не отвечали же мне так, как следует, потому, что вероломством души своей положили заранее изменить своему честному слову и существовавшим между нами приятельским отношениям. Совершенно же доказали вы это гнусным поведением вашим относительно меня в последнее время, поведением, пагубным для моего интереса, чего не ожидал я и чему верить никак не хотел до настоящей минуты; ибо, пленённый в самом начале знакомства нашего умными манерами вашими, тонкостью вашего обращения, знанием дел и выгодами, имевшими быть мне от сообщества с вами, я полагал, что нашёл истинного друга, приятеля и доброжелателя. Теперь же ясно познал, что есть много людей, под лъстивою и блестящею наружностью скрывающих яд в своём сердце, употребляющих ум свой на устройство козней ближнему и на непозволительный обман и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих слог свой не на пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кои вошли с ними в разные дела и условия. Вероломство ваше, милостивый государь мой, относительно меня ясно можно видеть из нижеследующего.

Во-первых, когда я в ясных и отчётливых выражениях письма моего изображал вам, милостивый государь мой, своё положение, а вместе с тем спрашивал вас в первом письме моём, что вы хотите разуместь под некоторыми выражениями и намерениями вашими, преимущественно же относительно Евгения Николаича, то вы по большей части старались умалчивать и, возмутив меня раз подозрениями и сомнениями, спокойно сторонились от дела. Потом, наделав со мной таких дел, которых и приличным словом назвать нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Как это назвать прикажете, милостивый мой государь? Потом, когда каждая минута была для меня дорога и когда вы заставляли меня гоняться за вами на протяжении всей столицы, писали вы под личиною дружбы мне письма, в которых, нарочно умалчивая о деле, говорили о совершенно посторонних вещах: именно о болезнях во всяком случае уважаемой мною вашей супруги и о том, что вашему малютке ревеню дали и что де по сему случаю у него прорезался зуб. Обо всём этом упоминали вы в каждом письме своём с гнусною и обидною для меня регулярностью. Конечно, готов согласиться, что страдания родного детища терзают душу отца, но для чего же упоминать об этом тогда, когда нужно было совершенно другое, более нужное и интересное. Я молчал и терпел; теперь же, когда время прошло, долгом почёл объясниться. Наконец, несколько раз вероломно обманувши меня ложным назначением свиданий, заставили меня играть, по-видимому, роль вашего дурака и потешителя, чем я быть никогда не намерен. Потом, и пригласив меня к себе предварительно и как следует обманув, уведомляете меня, что отозваны были к страдающей тётушке вашей, получившей удар ровно в пять часов, изъясняясь, таким образом, и тут с постыдною точностью. К счастью моему, милостивый мой государь, в эти три дня я успел навестить справки и по ним узнал, что тётушку вашу постиг удар ещё накануне осьмого числа, незадолго до полночи. По сему случаю вижу, что вы употребили святость родственных отношений для обмана совершенно посторонних людей. Наконец, в последнем письме своём упоминаете и о смерти родственницы вашей, как бы приключившейся именно в то самое время, когда я должен был явиться к вам для совещаний об известных делах. Но здесь гнусность расчётов и выдумок ваших превосходит даже всякое вероятие, ибо по достовернейшим справкам, к которым по счастливейшему для меня случаю успел я при-

бегнуть и кстати и вовремя, узнал я, что тётушка ваша скончалась ровно целые сутки спустя после безбожно определённого вами в письме своём срока для кончины её. Я не кончу, если буду исчислять все признаки, по коим узнал о вашем относительно меня вероломстве.

Довольно даже того для беспристрастного наблюдателя, что во всяком письме своём именуете вы меня своим искренним другом и называете любезными именами, что делали, по моему разумению, не для чего иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть.

Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману и вероломству, состоящему именно: в непрерывном умалчивании в последнее время о всём том, что касается общего нашего интереса, в безбожном похищении письма, в котором, хотя темно и не совсем мне понятно, объяснили вы наши обоюдные условия и соглашения, в варварском насильном займе трёхсот пятидесяти рублей серебром, без расписки, сделанном у меня в качестве вашего половинщика; и, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого нашего Евгения Николаича. Ясно вижу теперь, что хотелось вам доказать мне, что с него, с позволения сказать, как с козла, нет ни молока, ни шерсти и что он сам ни то ни се, ни рыба ни мясо, что и поставили ему в порок в письме своём от шестого числа сего месяца. Я же знаю Евгения Николаича как за скромного и благонаправного юношу, чем именно может он и прельстить, и сыскать, и заслужить уважение в свете. Известно тоже мне, что вы каждый вечер, в продолжение целых двух недель, клали в карман свой по несколько десятков, а иногда и до сотни рублей серебром, держа палки и банки Евгению Николаичу. Теперь же вы от этого всего отпираетесь и не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старания, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои, соблазнив меня предварительно качеством вашего половинщика и обольстив меня разными выгодами, имеющими быть на долю мою. Присвоив же теперь беззаконнейшим образом себе мои и Евгения Николаича деньги, возблагодарить меня уклоняетесь, употребляя для сего клевету, которою и очернили безрассудно в глазах моих того, кого я стараниями и усилиями своими ввёл в дом ваш. Сами же, напротив, по рассказам приятелей, до сих пор чуть-чуть не лижетесь с ним и выдаёте всему свету за первейшего вашего друга, несмотря на то что в свете нет такого последнего дурака, который бы сразу не угадал, к чему клонятся все ваши намерения и что именно значат на деле дружелюбные и приятельские отношения ваши. Я же скажу, что они значат обман, вероломство, забвение приличий и прав человека, богопротивны и всячески порочны. Ставлю себя примером и доказательством. Чем я вас оскорбил и за что вы со мною таким безбожным образом поступили?

Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю: если вы, милостивый мой государь, в наикратчайшее по получении письма сего время не возвратите мне сполна, во-первых, мною вам данной суммы, триста пятьдесят рублей серебром, и, во-вторых, всех за тем следующих мне, по обещанию вашему, сумм, то я прибегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче даже открытою силою, во-вторых, к покровительству законов, и, наконец, объявляю вам, что обладаю кое-какими свидетельствами, которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги и почитателя, могут погубить и осквернить ваше имя в глазах целого света.

Позвольте пребыть и проч.

VII

(От Петра Ивановича к Ивану Петровичу)

Ноября 15-го.

Иван Петрович!

Получив ваше мужицкое и вместе с тем странное послание, я в первую минуту хотел было разорвать его в клочки, – но сохранил для редкости. Впрочем, сердечно сожалею о недоразумениях и неприятностях наших. Отвечать вам я было не хотел. Но заставляет необходимость.

Именно сими строками объявить вам нужно, что видеть вас когда-либо в доме моём мне будет весьма неприятно, равно и жене моей: она слаба здоровьем и запах дёгтя ей вреден.

Жена моя отсылает вашей супруге книжку её, оставшуюся у нас, – «Дон-Кихота Ламанчского», с благодарностью. Что же касается до ваших калош, будто бы забытых вами у нас во время последнего посещения, то с сожалением уведомляю вас, что их нигде не нашли. Покамест их ищут; но если их совсем не найдут, тогда я вам куплю новые.

Впрочем, честь имею пребыть и проч.

VIII

Шестнадцатого числа ноября Пётр Иванович получает по городской почте на своё имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, затейливо сложенную, на бледно-розовой бумажке. Рука жены его. Адресовано к Евгению Николаичу, число 2 ноября. В пакете больше ничего не нашлось. Пётр Иванович читает:

Милый Eugene! Вчера никак нельзя было. Муж был дома весь вечер. Завтра же приезжай непременно ровно в одиннадцать. В половине одиннадцатого муж отправляется в Царское и воротится в полночь. Я злилась всю ночь. Благодарю за присылку известий и переписки. Какая куча бумаги! Неужели это всё она исписала? Впрочем, есть слог; спасибо тебе; вижу, что любишь меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра, ради бога.

А.

Пётр Иванович распечатывает второе письмо

Пётр Иванович!

Нога моя и без того бы никогда не была в вашем доме; напрасно извоили даром бумагу марать.

На будущей неделе уезжаю в Симбирск; приятелем бесценнейшим и любезнейшим другом останется у вас Евгений Николаич; желаю удачи, а о калошах не беспокойтесь.

IX

Семнадцатого числа ноября Иван Петрович получает по городской почте на своё имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, небрежно и наскоро написанную. Рука жены его; адресовано к Евгению Николаичу, число 4 августа. В пакете больше ничего не нашлось. Иван Петрович читает:

Прощайте, прощайте, Евгений Николаич! награди вас господь и за это. Будьте счастливы, а мне доля лютая; страшно! Ваша воля была. Если бы не тётушка, я бы вам вверилась так. Не смейтесь же ни надо мной, ни над тётушкой. Завтра венчают нас. Тётушка рада, что нашёлся добрый человек и берёт без приданого. Я в первый раз пристально на него поглядела сегодня. Он, кажется, добрый такой. Меня торопят. Прощайте, прощайте... голубчик мой!! Помяните обо мне когда-нибудь; я же вас никогда не забуду. Прощайте. Подпишу и это последнее, как первое моё... помните?

Татьяна.

Во втором письме было следующее.

Иван Петрович! Завтра вы получите калоши новые; я ничего не привык таскать из чужих карманов; также не люблю собирать по улицам лоскутки всякой всячины.

Евгений Николаич на днях уезжает в Симбирск, по делам своего деда, и просил меня похлопотать о попутчике; не хотите ли?

Ползунов

Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеянны ни были, пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны – или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму всякого взгляда, на него устремлённого, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на жирутку. Странное дело! Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутом и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек вовсе не был шутом из профессии. В нём оставалось ещё кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что всё его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материальных выгод. Он с удовольствием позволял засмеяться над собой во всё горло и неприличнейшим образом, в глаза, но в то же время – и я даю клятву в том – его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над всею его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения; но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что всё это происходило не иначе как от доброго сердца, а вовсе не от материальной невыгоды быть прогнанным в толчки и не занять у кого-нибудь денег: этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счёт, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять. Но, боже мой! какой это был заём! и с каким видом он делал этот заём! Я предположить не мог, чтоб на таком маленьком пространстве, как сморщенное, угловатое лицо этого человечка, могло уместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут не было! И стыд-то, и ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за неудачу, и просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества – всё это, как молнии, проходило по лицу его. Целых шесть лет пробивался он таким образом на божием свете и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа! Само собою разумеется, что очерстветь и заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо! Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостию: сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, не хуже, не лучше, чисто, даже с некоторою изысканностию и с поползновением на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время непрерывное самоумаление – всё это составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. Если б он был уверен сердцем своим (что, несмотря на опыт, поминутно случалось с ним), что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его обречённою личностью, то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошёл бы в этом наряде, другим в угоду, а себе в наслаждение, по улицам, лишь бы рассмешить своих покро-

вителей и доставить им всем удовольствие. Но до равенства он не мог достигнуть никогда и ничем. Ещё черта: чудака был самолюбив и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно с риском, почти с геройством, кого-нибудь из своих *покровителей*, уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами... Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик.

Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудака мой вскакивает на стул и кричит что есть мочи, желая, чтоб ему одному дали исключительно слово.

– Слушайте, – шепнул мне хозяин. – Он рассказывает иногда прелюбопытные вещи... Интересует он вас?

Я кивнул головою и втеснился в толпу.

Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во всё горло.

– Я знаю Федосея Николаича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаича! – кричал чудака с своего возвышения. – Господа, позвольте рассказать. Я хорошо расскажу про Федосея Николаича! Я знаю одну историю – чудо!..

– Расскажите, Осип Михайлыч, расскажите.

– Рассказывай!!

– Слушайте же...

– Слушайте, слушайте!!!

– Начинаю; но, господа, это история особенная...

– Хорошо, хорошо!

– Это история комическая.

– Очень хорошо, превосходно, прекрасно, – к делу!

– Это эпизод из собственной жизни вашего низайшего...

– Ну зачем же вы трудились объявлять, что она комическая!

– И даже немного трагическая!

– А???

– Словом, та история, которая вам всем доставляет счастье слушать меня теперь, господа, – та история, вследствие которой я попал в такую *интересную* для меня компанию.

– Без каламбуров!

– Та история...

– Словом, та история, – уж доканчивайте поскорее аполог, – та история, которая чего-нибудь стоит, – примолвил сиплым голосом один белокурый молодой господин с усами, запустив руку в карман своего сюртука и как будто нечаянно вытащив оттуда кошелек вместо платка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.